



АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

Хромая судьба

Аркадий и Борис Стругацкие

Хромая судьба

«Наследник Стругацких»

«Автор»

1989

Стругацкие А.

Хромая судьба / А. Стругацкие — «Наследник Стругацких»,
«Автор», 1989

«Нам хотелось написать человека талантливого, но безнадежно задавленного жизненными обстоятельствами, его основательно и навсегда взял за глотку "век-волкодав"...» – пишет Борис Стругацкий об истории создания «Хромой судьбы», одного из самых сложных и наименее фантастических произведений братьев Стругацких, имеющего непосредственное отношение к моментам биографии Аркадия Стругацкого – и при этом представляющего собой «роман в романе»...

© Стругацкие А., 1989

© Наследник Стругацких, 1989

© Автор, 1989

Содержание

1. Феликс Сорокин	5
2. Банев	17
3. Феликс Сорокин	40
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Аркадий и Борис Стругацкие

Хромая судьба

*Как пляшет огонек!
Сквозь запертые ставни
Осень рвется в дом.*

Райдзан

Авторы считают своим долгом предупредить читателя, что ни один из персонажей этого романа не существует (и никогда не существовал) в действительности. Поэтому возможные попытки угадать, кто здесь кто, не имеют никакого смысла. Точно так же вымышлены все упомянутые в этом романе учреждения, организации и заведения.

1. Феликс Сорокин

Пурга

В середине января, примерно в два часа пополудни, я сидел у окна и, вместо того чтобы заниматься сценарием, пил вино и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы, и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев и щетинистые пятна и полосы кустарника на пустыре.

Москву заметало.

Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться, и я представлял себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному городу – такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах.

Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках. О том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагребателей, а были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами. В валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше. Может быть, правда, стихии были тогда не те...

Еще думал я о том, что в последнее время то и дело случаются со мной какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия, словно тот, кому надлежит ведать моей судьбою, совсем одурел от скуки и принялся кудесить, но только дурак он, куда деваться? – и кудеса у него получаются дурацкие, такого свойства, что ни у кого, даже у самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда с поджиманием пальцев в ботинках.

И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом отодвинутая вправо моя пишущая машинка марки «Типпа» с заедающей от рождения буквой «Э», и вставлена в нее незаконченная страница, и на странице читается:

«... Башни танков повернуты влево, они бьют из пушек по партизанским позициям, бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу пристреливаться. За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф, командир танкистов, лейтенант СС. Он – мозг, дирижер этого оркестра смерти – жестами отдает команды идущим позади эсэсовским автоматчикам. Партизанские пули то и дело щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах.

Отступ.

Передовой секрет партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан – старик и молодой – растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг! Банг! Банг! – удары танковых пушек».

Мне пятьдесят шесть лет, но я никогда не был в партизанах, и под танковую атаку мне попасть тоже не довелось. А ведь, строго говоря, я должен был погибнуть на Курской дуге. Все наше училище погибло там, остались только: Рафка Резанов без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я, минометчик.

Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев в ВИП. Видно, тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полон энтузиазма по моему поводу, и ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках, хотя с годами все чаще мне приходило в голову: именно потому, что жив я остался по совершенной случайности, мне-то как раз и не следовало бы обо всем этом писать.

Вот и об этом я подумал сейчас, глядя в окно на заматаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал хороший глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины, и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами.

Я стал смотреть на полки с книгами. Боже мой, внезапно подумал я, ощутив холод в сердце, ведь это же, конечно, последняя моя библиотека! Больше библиотек у меня уже не будет. Поздно. Эта моя библиотека – пятая и теперь уже последняя. От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью: П. В. Макаров. «Адъютант генерала Май-Маевского». По этой книге недавно отснят был телевизионный сериал «Адъютант его превосходительства», картина неплохая и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком, и приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись, сделанную химическим карандашом: «Дорогому товарищу А. Сорокину. Пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта ген. Май-Маевского зам. Командира Крымской Повстанческой. С искренним партизанским приветом П. В. Макаров. 6.IX 1927 года, г. Ленинград». Могу себе представить, как дорожил, наверное, этой книгой отец мой Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню. И совершенно не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбило и первая библиотека погибла вся.

От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где два года, до самого скандала со мной, преподавал на курсах. По обстоятельствам выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше – решительно и непреклонно. Упаковать книги мы с Кларой тогда успели, и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск, но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего два дня, а через неделю были уже в Корсакове, а еще через неделю уже плыли на тральщике в Петропавловск, так что вторая библиотека моя так меня и не нашла.

До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были четыре томика «Гарзана» на английском, которые я купил во время отпуска в букинистическом, что на Литейном в Ленинграде; «Машина времени» и сборник рассказов Уэллса из приложения ко «Всемирному следопыту» с иллюстрациями Фитингофа; переплетенный комплект «Вокруг света» за 1927 год... Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особенной судьбой.

В пятьдесят втором году по Вооруженным Силам вышел приказ списать и уничтожить всю печатную продукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному маньчжоугоского императора Пу И. И, конечно же, ни у кого не было ни желания, ни

возможности разобраться, где среди тысяч томов на японском, китайском, корейском, английском и немецком языках, где в этой уже приплесневевшей гряде агнцы, а где козлища, и приказано было списать ее целиком.

...Был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-красных кучах, и чумазы, как черти в аду, курсанты суетились, и летали над всем расположением невосомые клочья пепла, а по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным на завтра штабелям, хищно бросались, хватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталась превосходная «История Японии» на английском языке, «История сыска в эпоху Мэйдзи»... а-а, все равно: ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать.

Третью библиотеку я отдал Паранайскому дому культуры, когда в пятьдесят пятом году возвращался с Камчатки на материк.

И как это я тогда решился подать рапорт об увольнении? Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни, с капризной женой и золотушной Катькой на шее... Нет, никогда бы я не рискнул, если бы хоть что-нибудь светило мне в армии. Но ничего не светило мне в армии, а ведь был я тогда молодой, честолюбивый, страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком, все в той же дивизии.

Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности если писать в такой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например:

«На палубе „Коньэй-мару“ было скользко, и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой...»

(Тут ценно как можно чаще повторять «были», «был», «было». Стекла были разбиты, морда была перекошена...)

«Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. „Сэнтё, выходи“, – строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сторбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. „Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды“, – приказал майор. Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. „Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен“, – приказал майор».

(Это тоже ценно: приказал, приказал, приказал...)

«Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. „Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду“, – приказал майор. Я перевел. Шкипер часто закивал, а может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. „Что он говорит?“ – спросил майор. Насколько я понял, шкипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голоду. Он говорил на каком-то диалекте, вместо „ки“ говорил „кси“, вместо „цу“ говорил „ту“, понять его было очень трудно...»

Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами. Но скорее всего, это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен.

Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и «Человек-тень» Эдогавы. Вот они стоят рядышком, Паранайскому дому культуры они были ни к чему. «Человек-тень» – первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хирай Таро, недаром он взял такой псевдоним: Эдогава Рампо – Эдгар Аллан По.

А четвертая библиотека осталась у Клары. И господь с ними обеими. Зря, ох зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не относиться к тем, кто полагает себя мною униженными и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен, не исполнил обещанного, подвел кого-то, разрушил чьи-то планы... и уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено?

И стоило мне вспомнить об этом моем неизбывном окаянстве, как тут же зазвонил телефон, и председатель наш Федор Михеич с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я наконец намерен съездить на Банную.

Что за разгильдяйство, Феликс Александрович, говорил он мне. В четвертый раз я тебе звоню, говорил он, а тебе все как об стену горох. Ведь не гоняют же тебя, бумагомараку, говорил он, на овощехранилище свеклу гнилую перебирать. Ученых, докторов наук гоняют, говорил он, а тебя всего-навсего-то просят, что съездить на Банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И не для развлечения это делается, говорил он мне, не по чьей-то глупой воле, сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым, лингвистам этим, кибернетикам-математикам... не исполнил... подвел... разрушил... вообразил себя...

Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же съезжу, и с лязгом и дребезгом гневно-укоризненным швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки вина в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не вина этого паршивого надо было купить мне вчера, а коньяку. Или, еще лучше, пшеничной водки.

Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего Института лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в институт этот по нескольку страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий, что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии... Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Аганяна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не сумел. Поняли мы только, что требуется этому институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно: сколько страниц – неважно; какие именно страницы и чего – тоже неважно; требуется только сходить к ним на Банную в любой рабочий день, прием с девяти до пяти. Возражений ни у кого тогда не оказалось, многие, наоборот, были даже польщены поучаствовать в научно-техническом прогрессе, так что, по слухам, первое время на Банной были даже очереди и даже со скандалами. А потом все как-то сошло на нет, забылось как-то, и теперь вот бедняга Федор Михеевич раз в месяц, а то и чаще теребит нас, нерадивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах.

Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса, а с другой стороны – ну, люди ведь мы, человеки: то я оказываюсь на Банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи; то уже и рукопись, бывало, под мышкой, и направляюсь я именно на Банную, а оказываюсь странным каким-то образом не на Банной, а, наоборот, в Клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно, по-моему, относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью. Ну какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия? А главное, при чем здесь я?

Однако же податься некуда, и я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было, и тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на Банную из «Зарубежного инвалида», куда отправился с Кап-Капычем к Нос-Носычу ругаться из-за статьи. Но на обратном пути из «Инвалида» мы на Банную не попали, а попали мы все в ресторан «Псков». Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было.

Но, слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя я поднялся с кресла, подошел к «стенке», к самой дальней секции, и кряхтя уселся рядом с нею прямо на

пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать только натужно кряхтя – как движений телесных, так и движений духовных.

(Кряхтя мы встаем ото сна. Кряхтя обновляем покровы. Кряхтя устремляемся мыслью. Кряхтя мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Кряхтя. «Упанишады», кажется. А может быть, и не совсем «Упанишады». Или не «Упанишады» вовсе.)

Кряхтя я откинул створку цокольного шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие, густо исписанные листочки, скрепленные ржавыми скрепками. Я взял первую попавшуюся папку – с обломанными от ветхости углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертыми надписями на обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными чернилами: «Сэйнэн дзидай-но саку» – «Творения юношеских лет». В эту папку я не заглядывал лет пятнадцать. Здесь все было очень старое, времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани, ВИПа – выдирки из тетрадей в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шершавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности, и все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке.

«Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь...»

Какой негр? Что за развалина? Ничего не помню.

«– Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы? – спросил вдруг шеф. – Китайцы? М-м-м... Кажется, были. Китайцы, или корейцы, или монголы. В общем, желтые...»

Да-да-да-да-да! Вспоминаю! Это был у меня такой политический памфлет... Нет. Ничего не помню.

«Крепость пала, но гарнизон победил».

Так.

«– Видю тя! Видю тя! – взревел Кроличьи Яйца, обнаружив видимого противника... И новый выстрел из тьмы наверху...»

А-а-а, это же я из Киплинга переводил, «Сталки и компания». Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Камчатка. Я сижу в штабе и перевожу Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника переводчику делать больше нечего.

«Кроличьи Яйца» – «Rabbit's Eggs». И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал «Rabbit's Balls». Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная, нет лучше школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени...

А вот и «Случай в карауле». Тоже пятьдесят третий год и тоже Камчатка.

«Позже Беркутов, часовой у входа в караульное помещение, никак не мог вспомнить, что впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в невнятные шорохи теплой июльской ночи. Просто к шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей примешалось...» – ну, и так далее. Коротко говоря, под покровом ночи подкрались к часовому, напали на него, и он, не в силах отбиться, вызвал огонь на себя.

Был я тогда по литературным воззрениям моим великим моралистом, причем не просто моралистом, но вдохновенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном «Случае в карауле» было вот что:

«Как могло случиться, что Линько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение уставов гарнизонной и караульной служб? А ты, Беркутов? Разве ты не оказался

рогозем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все – как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят в ружье?»

До чего же странно все это перечитывать сегодня! Словно рассказывают тебе умиленно, как ты в три годика, не удержавшись, обделался при большом скоплении гостей. А ведь не три годика, а все двадцать восемь было мне тогда. Но до чего же хотелось увидеть свое имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить напоказ печать любимца муз и Аполлона! И какое же это было горькое разочарование, когда «Суворовский натиск», дай бог ему здоровья, завернул мне мою рукопись под вежливым предлогом, что «Случай в карауле» не является типичным для нашей армии! Святые слова. За свою жизнь я простоял в караулах часов двести, и только однажды к шелесту листвы, шуму собственных шагов и в особенности к сонному скрипу ветвей примешались посторонние звуки, а именно: в кромешной тьме кто-то напористо и страшно пер через ограждение из колючей проволоки, никак не реагируя на мои отчаянные вопли «Стой! Стой, кто идет? Стой, стрелять буду!». Подоспевшее на выстрелы караульное начальство обнаружило запутавшегося в колючей проволоке, убитого наповал козла. Сгоряча мне обещана была гауптвахта, но потом все обошлось...

Нет, не отдам я им мой «Случай в карауле» на препарирование. Пусть лежит. И снова подумал я, какая это все-таки дурацкая затея с языковой энтропией, если им все равно, что анализировать: «Случай в карауле» или про кресло с человеческой развалиной.

Я отложил «Творения юношеских лет» в сторону и взял другую папку, уже вполне современного вида, с хорошо сохранившимися, тщательно завязанными красными тесемками. На обложку наклеен был белый ярлык, а на ярлыке значилось: «Отрывки, неопубликованное, сюжеты, планы».

Я раскрыл папку и сразу же наткнулся на рассказ «Нарцисс», написанный в пятьдесят седьмом году. Этот рассказ я помню очень хорошо. Действующие лица там такие: доктор Лобс, Шуа дю-Гюрзель, граф Денкер, баронесса Люст... Упоминаются: Карт сэ-Шануа, «полновесный идиот, ставший импотентом в шестнадцать лет», а также Стэлла Буа-Косю, родная тетка графа Денкера, садистка и лесбиянка. А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуа дю-Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычайной силы, налетел на свое отражение в зеркале, когда «взгляд его был полон желания, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви». И поскольку «воле Шуа дю-Гюрзеля не мог противостоять даже сам Шуа дю-Гюрзель», бедняга безумно влюбился сам в себя. Как Нарцисс. Дьявольски элегантный и аристократический рассказ. Там есть еще такое место: «К его счастью, после Нарцисса жил еще пастух Онан. Так что граф живет сам с собою, выводит себя в свет и кокетничает с дамами, вызывая, вероятно, у себя приятную возбуждающую ревность к самому себе».

Ай-яй-яй-яй-яй, какое манерное, похабное, салонное, махровое пшено! И подумать только, ведь проросло оно из того же кусочка души моей, что и мои «Современные сказки» полтора десятка лет спустя, из того же самого кусочка души, из которого растет сейчас моя Синяя Папка...

Нет, не дам я им моего «Нарцисса». Во-первых, потому, что всего один экземпляр. А во-вторых, совершенно никому не нужно знать, что Сорокин Феликс Александрович, автор романа «Товарищи офицеры» и пьесы «Равнение на середину!», не говоря уже о сценариях и армейских очерках, пишет еще, оказывается, всякие порнографические фантазмагории.

А дам-ка я им вот что. Пятьдесят восьмой год. «Корягины». Пьеса в трех действиях. Действующие лица: Сергей Иванович Корягин, ученый, около 60 лет; Ирина Петровна, его жена, 45 лет; Николай Сергеевич Корягин, его сын от первого брака, демобилизованный офицер, около 30 лет. И еще семь действующих лиц – студенты, художники, слушатели военной академии... Действие происходит в Москве, в наши дни.

«А н я. Слушай, можно задать тебе один вопрос?»

Н и к о л а й. Попробуй.

А н я. А ты не обидишься?

Н и к о л а й. Смотря... Нет, не обижусь. Насчет жены?

А н я. Да. Почему ты с нею развелся?»

Очень хорошо. Антон Павлович. Константин Сергеевич. Владимир Иванович. Главное, не закончено и никогда закончено не будет. Вот это мы им и отдадим.

Отложивши за спину рукопись, я принялся запикивать и уминать в шкафчик все остальное, и тут в руку мне попала общая тетрадь в липком коричневом переплете, разбухшая от торчащих из нее посторонних листков. Я даже засмеялся от радости и сказал ей: «Вот где ты, голубушка!» – потому что это была тетрадь заветная, драгоценная, потому что это был мой рабочий дневник, который я потерял в прошлом году, когда в последний раз наводил порядок в своих бумагах.

Тетрадь сама раскрылась у меня в руках, и обнаружился в ней мой заветный цанговый карандаш из Чехословакии, карандаш не простой, а счастливый; все сюжеты надлежало записывать только этим карандашом и никаким иным, хотя, признаться, был он довольно неудобен, потому что корпус у него лопнул в двух местах и грифель при неосторожном нажиме проваливался внутрь.

Я уже, оказывается, и забыл совсем, что начиналась эта тетрадка 30 марта почти ровно одиннадцать лет назад. Я писал тогда повесть «Железная семья» – о современных, мирных, так сказать, танкистах. Писалась она трудно, кровью и сукровицей она писалась, эта повесть. Помнится, я несколько раз выезжал в части по командировкам, правое ухо обморозил, и все равно толку никакого не получилось. Повесть отклонили. Спасибо, хоть аванс не отобрали.

Я листал страницы с однообразными записями:

«2.04. Сдел. 5 стр. Вечером 2 стр. Всего 135 стр.

3.04. Сдел. 4 стр. Вечер. 1 стр. Всего 140...»

Это у меня верный признак: если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропасть. Впрочем, 7.04 – странная запись: «Писал жалобу в правительствующий сенат». И еще: 19.04. «Омерзительный, как окурок в писсуаре». И 3.05: «Ничто так не взрослит, как предательство».

А вот и тот день, когда начал я придумывать современные сказки.

«21 мая 72 года. История про новосела-рабочего. У него работают циклевщик, грузчик, водопроводчик, все кандидаты наук. И все застревают в квартире. Циклевщик защемил палец в паркете, грузчика задвинули шкафом, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовый. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте. И приходит Катя».

Это еще не «Современные сказки», до «Современных сказок» было тогда еще далеко. Справиться с этим сюжетом мне так и не удалось, и сейчас я даже не помню: какой новосел? почему домовый? что за эликсир?

Или вот еще сюжет того же времени.

«28.10.72. Человек (фокусник), которого все принимали за пришельца из Космоса». В те поры все вокруг словно бы с ума сошли по поводу летающих тарелок. Только об этом и разговор: братья по разуму, Баальбекская веранда, Тассильские рисунки. И вот тогда мне придумалось: живет себе человек, ни о чем таком не думает, по профессии фокусник, причем фокусник очень хороший. И замечает он вдруг некое беспокоящее к себе внимание. Соседи по лестничной площадке странно с ним заговаривают, участковый заходит, интересуется реке-визитом и туманно рассуждает насчет закона сохранения энергии. «Это исчезающее яйцо, – говорит он, – не согласуется у вас, гражданин, с современными представлениями о законах сохранения». Наконец, вызывают его в отдел кадров, а там у кадровика сидит какой-то гражданин, вроде бы даже знакомый, но с одним глазом. И кадровик принимается моего героя спрашивать, сколько церквей в его родном Забубенске, да кому там памятник стоит на главной

площади, да не помнит ли он, сколько на фасаде горсовета окон. А герой, разумеется, ничего этого не помнит, и атмосфера подозрительности все сгущается, и вот уже заводятся вокруг него разговоры о принудительном медосмотре... Чем должна была кончиться вся эта история, я придумать так и не сумел: охладел. И теперь очень жалко мне, что охладел.

Второго ноября записано: «Не работал, страдаю брюхом», а третьего – короткая запись: «Вполсвиста».

С теплой грустью листал я свой рабочий дневник страницу за страницей.

«Человек – это душонка, обремененная трупом. Эпиктет».

«Цветок душистых прерий Лаврентий Пальч Берий».

«Против кого дружите?»

«Ректальная литература».

«Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Салтыков-Щедрин».

«Гнал спирт из ногтей алкоголиков».

А это опять для «Современных сказок»:

«Кот Элегант. Пес по фамилии Верный, он же Верка. Мальчик-вундеркинд, почитывает „Кубические формы“ Ю. Манина, очкарик; когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двенадцать лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды Иллича-Святыча. Кот по утрам, вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учат за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилок. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под крыльцом. Кот Элегант о каком-то госте: „Этот Петровский-Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса, которому я нынешней весной в кровь изодрал морду за хамское приставание“.

Еще фразы:

«Путал сентименталов с симменталами».

«Мария Павловна за Островским шубу шестнадцать лет носила, я у нее перекупила, стала чистить – три воши нашла, одна старая, еще по-аглицки говорит...»

Я захихал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перебрался за стол. Это находит на меня иногда: беру старые свои рукописи или старые дневники, и начинает мне казаться, что вот это все и есть моя настоящая жизнь – исчерканные листочки, чертежи какие-то, на которых я изображал, кто где стоит и куда смотрит, обрывки фраз, заявки на сценарии, черновики писем в инстанции, детальнейше разработанные планы произведений, которые никогда не будут созданы, и однообразно-сухие: «Сделано 5 стр. Вечер. сдел. 3 стр.». А жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски, друзья-трепачи и друзья-молчуны – все это сон, фата-моргана, мираж в сухой пустыне, то ли было это у меня, то ли нет.

И вот сюжет хороший. Точной даты почему-то нет, начало семьдесят третьего года.

...Курортный городишко в горах. И недалеко от города пещера. И в ней – кап-кап-кап – падает в каменное углубление Живая Вода. За год набирается всего одна пробирка. Только пять человек в мире знают об этом. Пока они пьют эту воду (по наперстку в год), они бессмертны. Но случайно узнает об этом шестой. А Живой Воды хватает только на пятерых. А шестой этот – брат пятого и школьный друг четвертого. А третий, женщина, Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит за подлость второго. Клубочек. А шестой вдобавок великий альтруист и ни себя не считает достойным бессмертия, ни остальных пятерых...

Помнится, я не написал эту повесть потому, что запутался. Слишком сложной получалась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображении. А получиться могло бы очень остро: и слезка за шестым, и угрозы, и покушения, и все на этакой философско-психологической закваске, и превращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть, и ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений...

В ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передней звонок. Я даже вздрогнул, но тут же мною овладело радостное предчувствие. Теряя и подхватывая на ходу тапочки, я устремился в переднюю и открыл дверь. Так и есть, явилась она, волшебница моя добрая, долгожданная, румяная с метели, запорошенная снегом. Клавочка. Вошла, блестя зубками, поздоровалась и прямо направилась на кухню, а я уже бежал, теряя тапочки, за паспортом, и получилось мне сто девяносто шесть рублей прописью и одиннадцать копеек цифрами из Литконсультации за рецензии на бездарный ихний самотек. Как всегда, вернул я Клавочке рубль, как всегда, она сперва отказывалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью, и, как всегда, провожая ее, я сказал ей: «Приходите, Клавочка, почаще» – а она ответила: «А вы пишите побольше».

Кроме денег оставила Клавочка на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок, с красно-бело-синим бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии. «Господину Фериксу Арександровичу Сорокину». Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто Рю Таками, и писал по-русски.

«Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф. А. Сорокин! Есри вы помните меня, мы познакомились весной 1975 года в Москве. Я был в японской деригации писателей, вы сидели рядом и любезно подарили мне вашу книгу „Современные сказки“. Книга очень мне понравилась сразу. Я неоднократно обращал в наше издательство „Хаякава“ и журнал „Эс-Эф магадзин“, но наши издатели консервативны. Однако теперь благодаря тому, что Ваша книга пользуется успехом в США, наконец наше издательство стали обращать внимание на Вашу книгу и по-видимому иметь намерение издать Вашу книгу. Это значит, что наша издательская культура находится под сильным влиянием американской и это – наша действительность. А как бы ни то было, то новое направление в нашем издательском мире так радостно и для Вас, и для меня. По плану моей работы я кончаю перевод Вашей книги в феврале будущего года. Но, к сожалению, я не понимаю некоторых слов и выражений (Вы найдете их в приложении). Я хотел бы просить Вас помощь. В началах каждой сказки процитировано фразы из произведения разных писателей. Если ничто Вам не помешает, прошу Вас сообщить мне, в каких названиях и в каких местах в них я смогу найти их. Я хочу познакомить Вас и Вашу литературную деятельность с нашими читателями как можно подробнее, но, к сожалению, у меня теперь совсем нет последних новостей о них. Я был бы очень рад, если Вы сообщили мне теперешнее положение Вашей работы и жизни и послали Ваши фотографии. И я желаю читать статьи и критики о Вашей литературе и узнать, где (в каких журналах, газетах и книгах) я смогу найти их. Мне хотелось бы просить Вас оказать мне многие помощи, которые я просил выше. Заранее благодарю Вас за помощь. С искренним уважением» (подпись иероглифами).

Я прочитал это письмо дважды и через некоторое время поймал себя на том, что благосклонно улыбаюсь, подкручивая себе усы обеими руками. Честно говоря, я совершенно не помнил этого японца и тем не менее испытывал к нему сейчас чувство живейшей симпатии и даже, пожалуй, благодарности. Вот и до Японии добрались мои сказки. Так сказать, боку-но отогибанаси-ва Ниппон-мадэ-мо ятто итадакимасьта...

Разнообразные чувства обуревали меня – вплоть до восхищения самим собою. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические улыбочки, и недоуменные риторические вопросы в критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные: «Ты что же это, старик, а? Совсем уже, а?» Теперь это, конечно, дела прошлые, но я, оказывается, ничего не забыл. И никого не забыл. А еще тут же вспомнилось мне, что когда выступаю я в домах культуры или на предприятиях, так если меня в зале кто-нибудь и знает, то не как автора «Товарищей офицеров» и уж, конечно, не как автора многочисленных моих армейских очерков, а именно как сочинителя «Современных сказок». И неоднократно мне даже присылали записки: «Не родственник ли Вы Сорокина, написавшего „Современные сказки“?»

Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумения Рю Таками позабавили меня, но не прошло и нескольких минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не предстоит.

А предстоит мне объяснить, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения: «хватить шилом патоки», «цвести, как майская роза», «иметь поповый вид», «полные штаны удовольствия», «начистить ряшку» и «залить зенки»... Но все это было еще полбеда, и не так уж, в конце концов, трудно было объяснить японцу, что «банан» на жаргоне школьников означает «двойку как отметку, в скобках – оценку», а «забойный» означает всего-навсего «сногшибательный» в смысле «великолепный». А вот как быть с выражением «фиг тебе»? Во-первых, фигу, она же дуля, она же кукиш, надлежало самым решительным образом отмежевать от плода фигового дерева, дабы не подумал Таками, что слова «фиг тебе» означают «подношу тебе в подарок спелую, сладкую фигу». А во-вторых, фигу, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трех пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента...

Я и сам не заметил, как эта работа увлекла меня.

Вообще говоря, я не люблю писать писем и положил себе за правило отвечать только на те письма, которые содержат вопросы. Письмо же Рю Таками содержало не просто вопросы, оно содержало вопросы деловые, причем по делу, в котором я сам был заинтересован. Поэтому я встал из-за стола только тогда, когда закончил ответ, перепечатал его (выдернув из машинки незаконченную страницу сценария), вложил в конверт, заклеил и надписал адрес.

Теперь у меня было по крайней мере два повода выйти из дому.

Я оделся, кряхтя натянул на ноги башмаки на «молниях», сунул в нагрудный карман пятьдесят рублей, и тут раздался телефонный звонок.

Сколько раз я твердил себе: не бери трубку, когда собираешься из дому и уже одет. Но ведь это же Рита могла вернуться из командировки, как же мне было не взять трубку? И взял я трубку, и сейчас же раскаялся, ибо звонила никакая не Рита, а звонил Леня Баринов по прозвищу Шибзд.

У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Например, Слава Крутоярский звонит мне исключительно в те моменты, когда я ем суп – не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина как следует остыла за время телефонной беседы. Гарик Аганян выбирает время, когда я сижу в сортире и притом ожидаю важного звонка. Что же касается Лени Баринова, то его специальность – звонить либо когда я собираюсь выйти и уже одет, либо когда собираюсь принять душ и уже раздет, а паче всего – рано утром, часов в семь, позвонить и низким подпольным голосом отрывисто спросить: «Как дела?»

Леня Баринов по прозвищу Шибзд спросил меня низким подпольным голосом:

– Как дела?

– Собираюсь уходить, – сказал я сухо, но это был неверный ход.

– Куда? – сейчас же осведомился Леня.

– Леня, – сказал я теперь уже просительно. – Может быть, потом созвонимся? Или ты по делу?

Да, Леня звонил по делу. И дело у него было вот какое. До Лени дошел слух (до него всегда доходят слухи), будто всех писателей, которые не имели публикаций в течение последних двух лет, будут исключать. Я ничего не слышал по этому поводу? Нет, точно ничего не слышал? Может быть, слышал, но не обратил внимания? Ведь я никогда не обращаю внимания и потому всегда тащусь в хвосте событий... А может, исключать не будут, а будут отбирать пропуск в Клуб? Как я думаю?

Я сказал, как я думаю.

– Ну, не груби, не груби, – примирительно попросил Леня. – Ладно. А куда ты идешь?

Я рассказал, что иду отправить заказное письмо, а потом на Банную. Лене все это было неинтересно.

– А потом куда? – спросил он.

Я сказал, что потом, наверное, зайду в Клуб.

– А зачем тебе сегодня в Клуб?

Я сказал, закипая, что у меня в Клубе дело: мне там надо дров наколоть и продуть паровое отопление.

– Опять грубишь, – произнес Леня грустно. – Что вы все такие грубые? Кому ни позвонишь – хам. Ну, не хочешь по телефону говорить – не надо. В Клубе расскажешь. Только учти, денег у меня нет...

Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смеркалось, впору было зажигать лампу. Я сидел у стола в пальто и в шапке, в тяжелых своих, жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. Собственно, письмо в Японию можно послать и не заказным, ничего с ним не делается, наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И Банная подождет, с нею тоже ничего не делается до завтра... Ты посмотри, какая выюга разыгралась, вовсе ничего не видно. Дом напротив – и того не видно, только слабо светятся мутные желтые огоньки. Но ведь сидеть вот так просто, всухомятку, с двумя сотнями рублей в кармане – тоже глупо и даже расточительно. А сбегая-ка я вниз, благо все равно одет.

И я сбегал вниз, в нашу кондитерскую. В нашу странную кондитерскую, где слева цветут на прилавке кремовые розы тортов, а справа призывно поблескивают ряды бутылок с горячительными напитками. Где слева толпятся старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят вперемежку солидные портфеленосцы-кейсовладельцы и зверообразные, возбужденно-говорливые от приятных предвкушений братья по разуму. Где слева мне не нужно было ничегошеньки, а справа я взял бутылку коньяку и бутылку «Салюта».

И, поднимаясь в лифте к себе на шестнадцатый этаж, прижимая локтем к боку бутылки, вытирая свободной ладонью с лица растаявший снег, я уже знал, как я проведу этот вечер. То ли пурга, из которой я только что выскочил, слепая, слепящая, съевшая остатки дня пурга была тому причиной, то ли приятные предвкушения, которых я, как и все мои братья по разуму, не чужд, но мне стало ясно совершенно: раз уж суждено мне закончить этот день дома и раз уж Рита моя все не возвращается, то не стану я звонить ни Гоге Чачуа, ни Славке Крутоярскому, а закончу я этот день по-особенному – наедине с самим собой, но не с тем, кого знают по комиссиям, семинарам, редакциям и клубному ресторану, а с тем, кого не знают нигде.

Мы с ним сейчас очистим стол на кухне, расставим на плетеных салфетках бутылки и алюминиевые формочки с заливным мясом от гостиницы «Прогресс», мы включим по всей квартире весь свет – пусть будет светло! – и перетащим из кабинета торшер, мы с ним откроем единственный ящик стола, запираемый на ключ, достанем Синюю Папку и, когда настанет момент, развяжем зеленые тесемки.

Пока я отряхивался от снега, пока переодевался в домашнее, пока осуществлял свою нехитрую предварительную программу, я неотрывно думал, как поступить с телефоном. Выяснилось вдруг, что именно нынче вечером мне могли позвонить, более того – должны были позвонить многие и многие, в том числе и нужные. Но, с другой стороны, я ведь не вспомнил об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в Клубе, а если и вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в самый разгар этих внутренних борений рука моя сама собой протянулась и выключила телефон.

И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему брэнчало за стеной неумелое пианино и доносилось через отдушину в потолке криканье и бормотанье магнитофонного барда.

И вот момент настал, но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьет в оконное стекло с сухим шелестом из черноты сорвавшаяся с цепи вьюга. А жалко, право же, что там у меня не бывает вьюг. А впрочем, мало ли чего там не бывает. Зато там есть многое из того, чего не бывает здесь.

Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку папки. Мельком я и скорбно, и радостно подумал, что не часто позволяю себе это, да и сегодня бы не позволил, если бы не... что? Вьюга? Леня Шибзд?

Заглавия на титульном листе у меня не было. Был эпиграф:

Я в третьем круге, там, где дождь струится,
Проклятый, вечный, грузный, ледяной;
Всегда такой же, он все так же длится...
.....
Хотя проклятым людям, здесь живущим,
К прямому совершенству не прийти,
Их ждет полнее бытие в грядущем...

И была наклеена на титульный лист дрянная фоторепродукция: под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей.

Но не эту картинку, знакомую многим и многим, я сейчас видел перед собой, а видел я сейчас то, чего не видел кроме меня и видеть не мог никто во всем свете. Во всей Вселенной никто. Откинувшись на спинку дивана, вцепившись руками в край стола, вглядывался я в улицы, мокрые, серые и пустые, в палисадники, где тихо гибли от сырости яблони... покосившиеся заборы, и многие дома заколочены, под карнизами высыпала белесая плесень, вылиняли краски, и всем этим безраздельно владеет дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб... черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами, а людей на улицах нет, человек – незванный гость на этих улицах, и дождь его не жалуется.

У меня их здесь десять тысяч человек во моем городе – дураков, энтузиастов, фанатиков, разочарованных, равнодушных, множество чиновников, вояк, добропорядочных буржуа, полицейских, шпииков. Детей. И неопишное наслаждение доставляло мне управлять их судьбами, приводить их в столкновение друг с другом и с мрачными чудесами, в которые они у меня оказались замешаны...

Еще совсем недавно мне казалось, что я покончил с ними. Каждый у меня получил свое, каждому я сказал все, что я о нем думаю. И наверное, именно эта определенность постепенно подступила мне к горлу, породила во мне душевное беспокойство и недовольство. Нужно мне было что-то еще. Еще какую-то картинку, последнюю, надо было мне нарисовать. Но я не знал – какую, и временами мне становилось тоскливо и страшно при мысли о том, что я так никогда этого и не узнаю. Что ж, может быть, я никогда не закончу эту мою вещь, но я буду над нею думать, пока не впаду в маразм, а возможно, и после этого.

Клянешься ли ты и далее думать и придумывать про свой город до тех пор, пока не впадешь в полный маразм, а может быть, и далее?

А куда мне деваться? Конечно, клянусь, сказал я и раскрыл рукопись.

2. Банев

В кругу семьи и друзей

Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. Это никакой не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это даже не грубость, это – жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала – просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать, она была в бешенстве.

– Ты видишь? – сказала она высоким голосом. – Девчонка, соплячка... Дрянь! Ничего святого, что ни слово – то оскорбление, будто я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседями стыдно! Мерзавка, хамка...

Да, подумал Виктор, и с этой вот женщиной я жил, я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера, и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах... кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила? Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом.

– Тебе, конечно, не до того, куда там, – говорила Лола. – Столичная жизнь, всякие балерины, артистки... Я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы... Мне это, если хочешь ты знать, безразлично, я тебе не мешала, ты жил как хотел...

Вообще ее губит то, что она очень много говорит. В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она – знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит молча на диване с сигареткой, выставив коленки... или заложит вдруг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно... Виктор представил себе уютный вечерок: этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат, запакованный в крахмал, галстук бабочкой. Все как у людей, и вдруг входит Ирма... Кошмар, подумал Виктор. Да она же несчастная женщина...

– Ты сам должен понимать, – говорила Лола, – что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают. – Она уже успокоилась, красные пятна пропали. – Я знаю, ты по-своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь... Счастливой назвать я себя не могу, но и несчастной тебе тоже не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, а у меня – своя. Я, между прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди...

Девочку придется забрать, подумал Виктор. Она уже все, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный... Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, предложил он себе. Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки... Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. Плохо, подумал он. Можно, конечно, взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру... Да не в этом же дело: девочка должна быть со мной, а не с экономкой... Говорят, дети, которых воспитали отцы, – это самые лучшие дети. И потом, она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен. Как честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но это все литература. А если все-таки честно? Если честно – боюсь. Потому что она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаясь большим ртом, и что

я ей сумею сказать? Читай, больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает, а больше мне сказать ей нечего. Поэтому и боюсь... Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому... Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит, себялюбиво, гнусненько. Честно.

– Что же ты молчишь? – спросила Лола. – Ты так и собираешься молчать?

– Нет-нет, я слушаю тебя, – поспешно сказал Виктор.

– Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов...

А с нею тоже надо честно? – подумал Виктор. Вот уж с нею мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места, между двумя сигаретами.

– Пойми, – сказала Лола, – я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь, ты ни на что такое не годен. Но у тебя же есть связи, знакомства, ты все-таки довольно известный человек – помоги ее устроить! Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионаты, специальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способности, и к математике, и к музыке...

– Пансион, – сказал Виктор. – Да, конечно... Пансион. Сиротский приют... Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.

– А что тут особенно думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора...

– Слушай, Лола, – сказал Виктор. – Это хорошая мысль, я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу...

– Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать, лично просить, пороги обивать! Ты же все равно здесь бездельничаешь! Все равно только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери...

О, черт, подумал Виктор, так ей все и объясни. Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый – дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.

– Ах, как ты мне надоел! – сказала Лола с неожиданной злостью. – Если бы ты знал, как ты мне надоел...

Пора идти, подумал Виктор. Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее. Все равно ничего я сегодня ей не отвечу. И ничего не стану обещать.

– Ни в чем на тебя нельзя положиться, – продолжала она. – Негодный муж, бездарный отец... модный писатель, видите ли! Дочь родную воспитать не сумел... Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты! Ну что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец в сто раз важнее, чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне...

– Брось, Лола, – сказал Виктор морщась. – Ты все-таки, знаешь, как-то... Я отец, это верно, но ты же мать... Все у тебя кругом виноваты...

– Убирайся! – сказала она.

– Ну вот что, – сказал Виктор. – Ссориться с тобой я не намерен. Решать с бухты-барухты я тоже ничего не намерен. Буду думать. А ты...

Она теперь стояла выпрямившись и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару.

– А ты, – спокойно сказал он, – постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню.

Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь.

– До свидания, Лола, – сказал он. Лола не ответила.

На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки поглубже в карманы. Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, думал он. А вот этого дома тогда еще не было, а был пустырь, а за пустырем – свалка, там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу... И ни черта мы тогда не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время двенадцатилетняя девчонка? Конопатое хихикающее существо, бантики, куклы, картинки с зайчиками и белоснежками, всегда парочками-троечками: шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы. Чистюли, ябеды, а самые лучшие из них – точно такие же, как мы, коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам... Времена новые наконец наступили, что ли? Нет, подумал он. Это не времена. То есть и времена, конечно, тоже... А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я – отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно, и не столько почетно, сколько хлопотно, да, в конце концов, и не почетно вовсе... А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас испокон веков. И двое на одного...

На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к мостовой третьего – в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по булыжнику. Виктор приостановился, затем подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже: никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже тем более – не слышно азартного гиканья и жеребьячьего ржания... Третий, в черном, вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него. Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили оттуда, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел вплотную и рывкнул:

– Отставить!

Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория – «мокрец», или «очкарик», как их звали за желтые круги вокруг глаз, – в плотной черной повязке, закрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрал остатки бровей. По лысой голове стекала вода.

– Что случилось? – спросил Виктор.

Очкарик смотрел не на него, а мимо, глаза его выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была тепловатая и ржавая на вкус. Отплеываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полилась за воротник и поползла по телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Еще до того, как у меня лязгнули челюсти... Он подвигал языком, пошевелил челюстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза.

– Милый, – сказал Виктор, – хватит.

– Мне показалось, что вы еще не очнулись, – сказал мальчик серьезно.

Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка – ничего страшного, никаких раздробленных костей, даже крови не было.

– Кто же это меня? – задумчиво спросил он. – Надеюсь, не ты?

– Вы сами сможете идти, господин Банев? – сказал мальчик. – Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый.

Виктор вспомнил, кто это.

– Я тебя знаю, – сказал он. – Ты – Бол-Кунац, приятель моей дочки.

– Да, – сказал мальчик.

– Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить. А давай-ка немножко посидим и опомнимся.

Теперь он разглядел, что с Бол-Кунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнела свежая ссадина, а верхняя губа припухла и кровоточила.

– Я все-таки кого-нибудь позову, – сказал Бол-Кунац.

– Стоит ли?

– Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается лицо.

– В самом деле? – Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось. – Это тебе только кажется... Так. А теперь мы встанем. Что для этого необходимо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги... – Он подтянул под себя ноги, и ноги показались ему не совсем своими. – Затем, слегка оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом... – Ему никак не удавалось перенести центр тяжести, что-то мешало. Чем же это меня? – подумал он. Да ведь как ловко...

– Вы наступили себе на плащ, – сообщил мальчик, но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше.

– Ага, – сказал он. – Значит, ты меня тащил оттуда до этой трубы. Спасибо.

Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Никого не было. Только маленький Бол-Кунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью.

– Куда же они все делись? – спросил Виктор.

Мальчик не ответил.

– Я тут один лежал? – спросил Виктор. – Вокруг никого больше не было?

– Давайте я вас провожу, – сказал Бол-Кунац. – Куда вам лучше идти? Домой?

– Погоди, – сказал Виктор. – Ты видел, как они хотели схватить очкарика?

– Я видел, как вас ударили, – сказал Бол-Кунац.

– Кто?

– Я не разглядел. Он стоял спиной.

– А ты где был?

– Видите ли, я лежал тут, за углом...

– Ничего не понимаю, – сказал Виктор. – Или у меня с головой что-то... Почему ты, собственно, лежал за углом? Ты там живешь?

– Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой.

– Очкарик?

Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш.

– Н-нет, – ответил Бол-Кунац, подумав. – По-моему, они все были без очков.

– О, господи, – сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку. – Я говорю о прокаженном, их называют очкариками. Ну знаешь, из лепрозория... Мокрецы...

– Не знаю, – сдержанно произнес Бол-Кунац. – По-моему, они все были вполне здоровы.

– Ну-ну! – сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился. – Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном...

– Это никакой не прокаженный! – с неожиданной запальчивостью сказал Бол-Кунац. – Он поздоровее вас...

Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишеское и сейчас же исчезло.

– Я не совсем понимаю, куда мы идем, – помолчав, сказал он прежним серьезным до бесстрастности тоном. – Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону.

Виктор все стоял, глядя на него сверху вниз. Два сапога пара, подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. Так он мне, видимо, и не расскажет, что здесь было. Интересно, почему? Неужели уголовщина? Нет, не похоже. Или все-таки уголовщина? Новые, знаете ли, времена... Чепуха, знаю я нынешних уголовников...

– Все правильно, – сказал он и двинулся дальше. – Мы идем в гостиницу, я там живу.

Мальчик, прямой, строгий и мокрый, шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло – мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, просто решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях, как подпорка для травмированного.

– Должен тебе сказать, – самым доверительным тоном сообщил ему Виктор, – что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так.

– Правда? – вежливо спросил Бол-Кунац. – И как же вы говорили?

– Ну, например, этот твой вопрос у нас звучал бы так: чиво?

Бол-Кунац пожал плечами.

– Вы хотите сказать, что это было бы лучше?

– Упаси бог! Я хочу только сказать, что это было бы естественнее.

– Именно то, что наиболее естественно, – заметил Бол-Кунац, – менее всего подходит человеку.

Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то беспокойство. Или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась кошка.

– Естественное всегда примитивно, – продолжал между тем Бол-Кунац. – А человек – существо сложное, естественность ему не идет. Вы меня понимаете, господин Банев?

– Да, – сказал Виктор. – Конечно.

Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заняло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул в карман.

– Сколько тебе лет? – спросил он.

– Четырнадцать, – рассеянно ответил Бол-Кунац.

– А-а...

Любой мальчик на месте Бол-Кунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающе неопределенным «а-а», но Бол-Кунац был не из любых мальчиков. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением естественного и примитивного в природе и обществе. И он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове...

Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей и попадались прохожие – торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины и озаренный неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола, в блестящих плащах до пяток. И над всем этим сквозь дождь сияли золотые и синие заклинания: «Президент – отец народа», «Легионер Свободы – верный сын Президента», «Армия – наша грозная слава»...

Они по инерции шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рывкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой.

– А я думал, тебе лет восемьдесят, – сказал Виктор.

– Чиво-чиво? – противным голосом спросил Бол-Кунац, и Виктор облегченно засмеялся. Все-таки это был мальчик, обыкновенный нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зурмансора, Фромма и, может быть, даже осиливший Шпенглера.

– У меня в детстве был приятель, – сказал Виктор, – который затеял прочитать Гегеля в подлиннике и прочитал-таки, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник.

– Да, знаю, – сказал Бол-Кунац.

– И ты не боишься?

– Нет.

Они подошли к отелю, и Виктор предложил:

– Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

– Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать, а во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?

Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическими свечами в совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанными запахами, и Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении наступающего вечера, когда можно будет пить, и безответственно болтать, и отодвинуть локтем на завтра то, что раздражающе наседало сегодня... в предвкушении Юла Голема и доктора Р. Квадриги... и, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь, и, может быть, что-нибудь случится – драка или сюжет вдруг заиграет... и закажу-ка я сегодня миноги, и пусть все будет хорошо, а последним автобусом поеду к Диане...

Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Бол-Кунац разговаривал со швейцаром. «Ты зачем сюда вперся?» – шипел швейцар. «У меня разговор с господином Баневым». – «Я тебе покажу разговор с господином Баневым, – шипел швейцар. – Шляешься по ресторанам...» – «У меня разговор с господином Баневым, – повторял Бол-Кунац. – Ресторан меня не интересует». – «Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал... Вот я тебя сейчас отсюда вышвырну...» Виктор взял ключ и обернулся.

– Э... – сказал он. Он опять забыл имя швейцара. – Парнишка со мной, все в порядке.

Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное.

Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Бол-Кунац стоял рядом, с него капало.

– Раздевайся, – сказал Виктор. – Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце.

– Разрешите, я позвоню, – сказал Бол-Кунац, не двигаясь с места.

– Валяй. – Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он громко и внятно произнес: «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вышел в комнату. «Вот тебе», – сказал он и тут же увидел, что это ни к чему. Бол-Кунац по-прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало.

– Благодарю вас, – сказал он. – Видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...

– Простудишься, – сказал Виктор.

– Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел бы еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?

Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и вытащил бутылку и стакан.

– Ирма мне много чего говорила, – ответил он довольно мрачно. Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды.

– Она не передавала вам наше приглашение?

– Нет. Приглашений она мне не передавала. На, выпей.

– Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, то передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев.

– Кто это – мы?

– Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов.

– Гм, – сказал Виктор с сомнением. – Ты уверен, что это будет интересно всем?

– Я думаю – да.

– Все-таки я пишу не для гимназистов, – напомнил Виктор.

– Это неважно, – сказал Бол-Кунац с мягкой настойчивостью. – Вы согласились бы?

Виктор задумчиво покрутил в стакане прозрачную смесь.

– Может быть, все-таки выпьешь? – спросил он. – Лучшее средство от простуды. Нет? Ну тогда выпью я. – Он осушил стакан. – Хорошо, я согласен. Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг: вы и я... Когда?

– Когда вам будет удобно. Лучше бы на этой неделе. Утром.

– Скажем, через два-три дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу, в одиннадцать. Это подойдет?

– Да. В пятницу в одиннадцать. В гимназии. Вам напомнить?

– Обязательно, – сказал Виктор. – О раутах, суаре и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть.

– Хорошо, я напомню, – сказал Бол-Кунац. – А теперь я с вашего разрешения пойду. До свидания, господин Банев.

– погоди, я тебя провожу, – сказал Виктор. – Как бы тебя этот... швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары знаешь какой народ...

– Благодарю вас, не беспокойтесь, – возразил Бол-Кунац. – Это мой отец.

И он вышел. Виктор налил себе еще на палец джину и повалился в кресло. Так, подумал он. Бедный швейцар. Как же его зовут? Неудобно даже, все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить, обменяться опытом. Он, наверное, опытнее... Какая, однако, концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке. Может быть, это от повышенной влажности?... Он откинул голову и сморщился от боли. Вот гад, чем это он меня все-таки? Он ощупал желвак. Похоже на резиновую дубинку. Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от современного стула в «Жареном Пегасе» – это я знаю. Как бывает от автоматного приклада или, например, от рукоятки пистолета – я тоже знаю. От бутылки из-под шампанского и от бутылки с шампанским... Надо будет спросить Голема... Вообще странная какая-то история, хорошо бы в ней разобраться...

И он стал разбираться в этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом мысль об Ирме, о необходимости от чего-то отказываться и как-то себя ограничивать или куда-то кому-то писать, кого-то просить... «Извини, что беспокою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка двенадцати с лишним лет, очень славная девочка, но мать у нее дура и отец тоже дурак, так вот надобно ее пристроить куда-нибудь подальше от глупых людей...» Не хочу я сегодня об этом думать, завтра подумаю. Он посмотрел на часы. Хватит думать вообще. Хватит.

Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. Брюхо растет, вот дьявол, и откуда бы у меня быть брюху? Такой всегда был сухощавый жилистый человек... Даже и не брюхо, соб-

ственно, – благородное трудовое чрево от размеренной жизни и хорошей пищи, – а так, брюшко какое-то паршивенькое, оппозиционерский животик. У господина президента небось не такой. У господина президента небось благородный, обтянутый черным лоснящийся дирижабль...

Повязывая галстук, он придвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как выглядело это уверенное крепкое лицо, столь обожаемое женщинами известного сорта, некрасивое, но мужественное лицо бойца с квадратным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. Лицо господина президента, тоже не лишённое мужественности и элементов прямоугольности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем, между нами, кабанье рыло. Господин президент изволили взвинтить себя до последней степени, из клыкастой пасти летели брызги, и я достал платок и демонстративно вытер себе щеку, и это был, наверное, самый смелый поступок в моей жизни, если не считать того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. Но как я дрался с танками – я не помню, знаю только по рассказам очевидцев, а вот платочек я вынул сознательно и соображал, на что иду... В газетах об этом не писали. В газетах честно и мужественно, с суровой прямоотой сообщили, что «беллетрист В. Банев искренне поблагодарил господина президента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы».

Странно, как хорошо я все это помню... Он обнаружил, что у него побелели щеки и кончик носа. Вот таким я и был тогда, на такого орать сам бог велел. Он ведь не знал, бедняга, что это я не от страха, что бледнею я от злости, как Людовик Четырнадцатый... Только не будем махать кулаками после драки. Какая разница, от чего я там у него бледнел... Ладно, не будем. Но – для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы привести себя в порядок перед появлением на люди, чтобы вернуть нормальный цвет этому некрасивому, но мужественному лицу, – я должен отметить, я должен напомнить вам, господин Банев, что если бы вы не продемонстрировали господину президенту свой платочек, вы бы сейчас благополучнейшим образом обретались в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре...

Виктор залпом допил джин и спустился в ресторан.

– Может быть, конечно, и хулиганы, – сказал Виктор. – Только в мое время никакой хулиган не стал бы связываться с очкариком. Запустить в него камнем – это еще туда-сюда, но хватать, тащить и вообще прикасаться... Мы их все боялись, как заразы.

– Я же говорю вам: это генетическая болезнь, – сказал Голем. – Они абсолютно не заразные.

– Как же не заразные, – возразил Виктор, – когда от них бородавки, как от жабы! Это же все знают.

– От жаб не бывает бородавок, – благодушно сказал Голем. – От мокрецов тоже. Стыдно, господин писатель. Впрочем, писатели – народ серый.

– Как и всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ утверждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки...

– А вот приближается мой инспектор, – сказал Голем.

Подошел Павор в мокром плаще, прямо с улицы.

– Добрый вечер, – сказал он. – Весь промок, хочу выпить.

– Опять от него тинной воняет, – с негодованием произнес доктор Р. Квадрига, пробудившись от алкогольного транса. – Вечно от него воняет тинной. Как в пруду. Ряска.

– Что вы пьете? – спросил Павор.

– Кто – мы? – осведомился Голем. – Я, например, как всегда, пью коньяк. Виктор пьет джин. А доктор – все по очереди.

– Срам! – с негодованием сказал доктор Р. Квадрига. – Чешуя! И головы.

– Двойной коньяк! – крикнул Павор официанту.

Лицо у него было мокрое от дождя, густые волосы слиплись, и от висков по бритым щекам стекали блестящие струйки. Тоже твердое лицо – многие, наверное, завидуют. Откуда у санитарного инспектора такое лицо? Твердое лицо – это: сыплет дождь, прожектора, тени на мокрых вагонах мечутся, ломаются... все черное и блестящее, только черное и только блестящее, и никаких разговоров, никакой болтовни, только команды, и все повинуются... не обязательно вагоны, могут быть самолеты, аэродром, и потом, никто не знает, где он был и откуда пришел... девочки падают навзничь, а мужчинам хочется сделать что-нибудь мужественное – например, расправить плечи и втянуть брюхо. Вот Голему не мешало бы втянуть брюхо, только вряд ли, куда он его втянет, там у него все занято. Доктор Р. Квадрига – да, но зато ему не расправить плечи, вот уже много дней и навсегда он согбен. Вечерами он согбен над столом, по утрам – над тазиком, а днем – от больной печени. И значит, только я здесь способен втянуть брюхо и расправить плечи, но я лучше мужественно хлопну стаканчик джину.

– Нимфоман, – грустно сказал Павору доктор Р. Квадрига. – Русалкоман. И водоросли.

– Заткнитесь, доктор, – сказал Павор. Он вытирал лицо бумажными салфетками, комкал их и бросал на пол. Потом он стал вытирать руки.

– С кем это вы подрались? – спросил Виктор.

– Изнасилован мокрецом, – произнес доктор Р. Квадрига, мучительно стараясь развести по местам глаза, которые съехались у него к переносице.

– Пока ни с кем, – ответил Павор и пристально посмотрел на доктора, но Р. Квадрига этого не заметил.

Официант принес рюмку. Павор медленно выцедил коньяк и поднялся.

– Пойду-ка я умоюсь, – сказал он ровным голосом. – За городом грязь, весь в дерьме. – И он ушел, задевая по дороге стулья.

– Что-то происходит с моим инспектором, – произнес Голем. Он щелчком сбросил со стола мятую салфетку. – Что-то мировых масштабов. Вы, случайно, не знаете, что именно?

– Вам лучше знать, – сказал Виктор. – Он инспектирует вас, а не меня. И потом вы ведь все знаете. Кстати, Голем, откуда вы все знаете?

– Никто ничего не знает, – возразил Голем. – Некоторые догадываются. Очень немногие – те, кому хочется. Но нельзя спросить: откуда они догадываются? – это насилие над языком. Куда идет дождь? Чем встает солнце? Вы бы простили Шекспиру, если бы он написал что-нибудь в этом роде? Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы многое прощаем, не то что Баневу... Слушайте, господин беллетрист, у меня есть идея. Я выпью коньяку, а вы покончите с этим джином. Или вы уже готовы?

– Голем, – сказал Виктор, – вы знаете, что я – железный человек?

– Я догадываюсь.

– А что из этого следует?

– Что вы боитесь заржаветь.

– Предположим, – сказал Виктор. – Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что могу пить много и долго, не теряя нравственного равновесия.

– Ах вот в чем дело, – сказал Голем, наливая себе из графинчика. – Ну хорошо, мы еще вернемся к этой теме.

– Я не помню, – сказал вдруг ясным голосом доктор Р. Квадрига. – Я вам представлялся или нет, господа? Честь имею: Рем Квадрига, живописец, доктор гонорис кауза, почетный член... Тебя я помню, – сказал он Виктору. – Мы с тобой учились и еще что-то... А вот вы, простите...

– Меня зовут Юл Голем, – небрежно сказал Голем.

– Очень рад. Скульпт'р?

– Нет. Врач.

– Х'рург?

– Я главный врач лепрозория, – терпеливо объяснил Голем.

– Ах да! – сказал доктор Р. Квадрига, по-лошадиному мотая головой. – Конечно. Простите меня, Юл... Только почему вы скрываете? Какой вы там врач? Вы же разводите мокрецов... Я вас представлю. Такие люди нам нужны... Простите, – сказал он неожиданно. – Я сейчас.

Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между пустыми столиками. К нему подскочил официант, и доктор Р. Квадрига обнял его за шею.

– Это все дожди, – сказал Голем. – Мы дышим водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. – Он серьезно и печально глядел на Виктора. – А дождь будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, сквозь гнилые крыши... потом он смоем все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать, и падать, и падать...

– Апокалипсис, – проговорил Виктор, чтобы что-нибудь сказать.

– Да, апокалипсис... Будет падать и падать, а потом земля напитается, и взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...

Если бы не эти сизые мешки под глазами, если бы не вислое студенистое брюхо, если бы этот великолепный семитский нос не был так похож на топографическую карту... Хотя, ежели подумать, все пророки были пьяницами, потому что уж очень это тоскливо: ты все знаешь, а тебе никто не верит. Если бы в департаментах ввели штатную должность пророка, то им следовало бы присваивать не ниже тайного советника – для укрепления авторитета. И все равно, наверное, не помогло бы...

– За систематический пессимизм, – сказал Виктор вслух, – ведущий к подрыву служебной дисциплины и веры в разумное будущее, приказываю: тайного советника Голема побить камнями в экзекуторской.

Голем хмыкнул.

– Я всего лишь коллежский советник, – сообщил он. – И потом, какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. Множество лжепророков и ни одного пророка. В наше время нельзя предвидеть будущее – это насилие над языком. Что бы вы сказали, прочитав у Шекспира: предвидеть настоящее? Разве можно предвидеть шкаф в собственной комнате?.. А вот идет мой инспектор. Как вы себя чувствуете, инспектор?

– Прекрасно, – сказал Павор, усаживаясь. – Официант, двойной коньяк! Там, в вестибюле, нашего живописца держат четверо, – сообщил он. – Объясняют ему, где вход в ресторан. Я решил не вмешиваться, потому что он никому не верит и дерется... О каких шкафах идет речь?

Он был сух, элегантен, свеж, от него пахло одеколоном.

– Мы говорим о будущем, – сказал Голем.

– Какой смысл говорить о будущем? – возразил Павор. – О будущем не говорят, будущее делают. Вот рюмка коньяка. Она полная. Я делаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести.

– Другой умный человек сказал, – заметил Виктор, – что будущего вообще не бывает, есть только настоящее.

– Я не люблю классической философии, – сказал Павор, – эти люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рассуждать, как Голему – пить. Будущее – это тщательно обезвреженное настоящее.

– У меня всегда возникает странное ощущение, – сказал Голем, – когда при мне штатский человек рассуждает как военный.

– Военные вообще не рассуждают, – возразил Павор. – У военных только рефлекс и немного эмоций.

– У большинства штатских тоже, – сказал Виктор, ощупывая свой затылок.

– Сейчас ни у кого нет времени рассуждать, – сказал Павор. – Ни у военных, ни у штатских. Сейчас надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии с рефлексами и эмоциями.

– К чертям изобретателей, – сказал Виктор. Он чувствовал себя пьяным и веселым. Все стояло на своих местах. Не хотелось никуда идти, хотелось оставаться здесь, в этом пустом полутемном зале, еще не совсем ветхом, но уже с потеками на стенах, с расхлябанными половицами, с запахом кухни; особенно если вспомнить, что снаружи во всем мире идет дождь, над булыжными мостовыми – дождь, над островерхими крышами – дождь, и дождь заливают горы и равнину, и когда-нибудь он все это смоем, но это случится еще очень не скоро... хотя, если подумать, сейчас ни о чем нельзя говорить, что это случится не скоро. Да, милые мои, давно оно прошло, то время, когда будущее было повторением настоящего и все перемены маячили где-то за далекими горизонтами. Голем прав, нет на свете никакого будущего, оно слилось с настоящим, и теперь не разберешь, где что.

– Изнасилован мокрецом! – сказал Павор злобно.

В дверях ресторана появился доктор Р. Квадрига. Несколько секунд он стоял, с тяжелым вниманием обозревая ряды пустых столиков, затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту.

– Почему вы их называете мокрецами? – спросил Виктор. – Что они – мокрые у вас тут стали от дождей?

– А почему – нет? – сказал Павор. – Как же их, по-вашему, называть?

– Очкарики, – сказал Виктор. – Доброе старое слово. Спокон веков мы их называли очкариками.

Доктор Р. Квадрига приближался. Спереди он был весь мокрый – вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и разочарованным.

– Черт знает что, – брюзгливо сказал он еще издали. – Никогда со мной такого не бывало: нет входа! Куда ни ткнусь – везде сплошные окна... Кажется, я заставил вас ждать, господа. – Он упал в свое кресло и узрел Павора. – Опять он здесь, – сообщил он Голему доверительным шепотом. – Надеюсь, он вам не мешает... А со мной, знаете ли, произошла удивительная история. Всего облили.

Голем налил ему коньяку.

– Благодарю вас, – сказал Р. Квадрига, – но я, пожалуй, лучше пропущу пару кругов. Надо обсохнуть.

– Я вообще за все старое доброе, – объявил Виктор. – Пусть очкарики остаются очкариками. И вообще пусть все остается без изменений. Я – консерватор... Внимание! – сказал он громко. – Предлагается тост за консерватизм. Минуточку... – Он налил себе джину, встал и оперся рукой на спинку кресла. – Я – консерватор, – сказал он. – И с каждым годом я становлюсь все консервативнее, но не потому, что старею, а потому, что ощущаю в этом потребность...

Трезвый Павор с рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миноги, а доктор Р. Квадрига, казалось, тщился понять, откуда до него доносится голос и чей. Все было очень хорошо.

– Люди обожают критиковать правительства за консерватизм, – продолжал Виктор. – Люди обожают превозносить прогресс. Это новое веяние, и оно глупо, как и все новое. Людям надлежало бы молить бога, чтобы он даровал им самое косное, самое заскорузлое и конформистское правительство...

Теперь и Голем поднял глаза и смотрел на него, и Тэдди за своей стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушивался, только вот затылок вдруг заломило, и пришлось поставить рюмку и погладить желвак.

– Государственный аппарат, господа, во все времена почитал своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это было оправданно раньше, но сейчас такая функция государства попросту необходима. Я бы определил эту функцию так: всячески препятствовать будущему запускать свои щупальца в наше время, обрубить эти щупальца, прижигать их каленым железом... Мешать изобретателям, поощрять схоластов и болтунов... В гимназиях ввести повсеместно исключительно классическое образование. На высшие государственные посты – старцев, обремененных семействами и долгами, не моложе шестидесяти лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях...

– Что вы такое несете, Виктор, – сказал Павор укоризненно.

– Нет, отчего же, – сказал Голем. – Необычайно приятно слышать такие умеренные, лояльные речи.

– Я еще не кончил, господа!.. Талантливых ученых назначать администраторами с крупным окладом. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку... – А чего я, собственно, стою, подумал Виктор и сел. – Ну, как вам это показалось? – спросил он Голема.

– Вы совершенно правы, – сказал Голем. – А то у нас нынче все радикалы. Даже директор гимназии. Консерватизм – вот наше спасение.

Виктор хлебнул джину и сказал горестно:

– Не будет никакого спасения. Потому что все дураки-радикалы не только верят в прогресс, они еще и любят прогресс, они воображают, что не могут без прогресса. Потому что прогресс – это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность делать поменьше, а получать побольше. И потому каждое правительство вынуждено одной рукой... то есть не рукой, конечно... одной ногой нажимать на тормоза, а другой – на акселератор. Как гонщик на повороте. На тормоза – чтобы не потерять управление, а на акселератор – чтобы не потерять скорости, а то ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно спихнет с водительского места.

– С вами трудно спорить, – вежливо сказал Павор.

– А вы не спорьте, – сказал Виктор. – Не надо спорить: в спорах рождается истина, пропади она пропадом. – Он нежно погладил желвак и добавил: – Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все ученые – поборники прогресса, а я не ученый. Я просто небезызвестный куплетист.

– Что это вы все время хватаетесь за затылок? – спросил Павор.

– Какая-то сволочь долбанула, – сказал Виктор. – Кастетом... Правильно я говорю, Голем? Кастетом?

– По-моему, кастетом, – сказал Голем. – А может быть, и кирпичом.

– Что вы такое говорите? – удивился Павор. – Каким кастетом? В этом захоlustье?

– Вот видите, – наставительно сказал Виктор. – Прогресс!.. Давайте снова выпьем за консерватизм.

Позвали официанта, выпили еще раз за консерватизм. Пробило девять, и в зале появилась известная пара – молодой человек в мощных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню. Молодой человек опять пришел с портфелем, портфель он поставил на свободное кресло рядом с собой. Он всегда был очень добр к своему портфелю. Продиктовав официанту заказ, они выпрямились и стали молча глядеть в пространство.

Странная пара, подумал Виктор. Удивительное несоответствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле: один в фокусе, другой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С молодым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессе, а с долговязым – нет. Долговязый мог бы двинуть меня кастетом, а молодой в очках – нет... Но я

вас сейчас совмещу. Как бы это мне вас совместить? Ну, например, вот... Какой-нибудь государственный банк, подвалы... цемент, бетон, сигнализация... долговязый набирает номер на диске, стальная башня поворачивается, открывается вход в сокровищницу, оба входят, долговязый набирает номер на другом диске, дверца сейфа откатывается, и молодой по локоть погружается в бриллианты.

Доктор Р. Квадрига вдруг расплакался и схватил Виктора за руку.

– Ночевать, – сказал он. – Ко мне. А?

Виктор немедленно налил ему джину. Р. Квадрига выпил, вытер под носом и продолжал:

– Ко мне. Вилла. Фонтан есть. А?

– Фонтан – это у тебя хорошо придумано, – заметил Виктор уклончиво. – А еще что?

– Подвал, – печально сказал Р. Квадрига. – Следы. Боюсь. Страшно. Хочешь – продам?

– Лучше подари, – предложил Виктор.

Р. Квадрига заморгал.

– Жалко, – сказал он.

– Скупердьяй, – сказал Виктор с упреком. – Это у тебя с детства. Виллы ему жалко! Ну и подавись своей виллой.

– Ты меня не любишь, – горько констатировал доктор Р. Квадрига. – И никто.

– А господин президент? – агрессивно спросил Виктор.

– «Президент – отец народа», – оживляясь, сказал Р. Квадрига. – Эскиз в золотистых тонах... «Президент на позициях». Фрагмент картины: «Президент на обстреливаемых позициях».

– А еще? – поинтересовался Виктор.

– «Президент с плащом», – сказал Р. Квадрига с готовностью. – Панно. Панорама.

Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать Голема.

– Вот что, Павор, – говорил тот. – Отстаньте вы от меня. Что я еще могу? Отчетность я вам представил. Рапорт ваш готов подписать. Хотите жаловаться на военных – жалуйтесь. Хотите жаловаться на меня...

– Не хочу я на вас жаловаться, – отвечал Павор, прижимая руку к груди.

– Тогда не жалуйтесь.

– Ну посоветуйте мне что-нибудь! Неужели вы ничего мне не можете посоветовать?

– Господа, – сказал Виктор. – Скучища. Я пойду.

На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке. Лысый Тэдди перетирал бутылки и смотрел на него без любопытства.

– Как всегда? – спросил он.

– Подожди, – сказал Виктор. – Что это я у тебя хотел спросить... Да! Как дела, Тэдди?

– Дождь, – коротко сказал Тэдди и налил ему очищенной.

– Проклятая погода стала у нас в городе, – сказал Виктор и оперся на стойку. – Что там на твоём барометре?

Тэдди сунул руку под стойку и достал «погодник». Все три шипа плотно прилегли к блестящему, словно отполированному стволу.

– Без просвета, – сказал Тэдди, внимательно разглядывая «погодник». – Дьявольская выдумка. – Подумав, он добавил: – А вообще-то, бог его знает, может быть, он давно уже заломался – который год уже дождь, как проверишь?

– Можно съездить в Сахару, – предложил Виктор.

Тэдди ухмыльнулся.

– Смешно, – сказал он. – Господин этот ваш, Павор, смешное дело, двести крон предлагает за эту штуку.

– Спяну, наверное, – сказал Виктор. – Зачем она ему...

– Я ему так и сказал. – Тэдди повертел «погодник», поднес его к правому глазу. – Не отдам, – заявил он решительно. – Пусть-ка сам поищет. – Он сунул «погодник» под стойку, посмотрел, как Виктор крутит в пальцах рюмку, и сообщил: – Диана твоя приезжала.

– Давно? – небрежно спросил Виктор.

– Да часов в пять примерно. Выдал ей ящик коньяку. Росшепер все гуляет, никак не остановится. Гоняет персонал за коньяком, жирная морда. Тоже мне – член парламента... Ты за нее не опасешься?

Виктор пожал плечами. Он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном, она не смотрела в его сторону, он видел только ее профиль и думал, что из всех женщин, которых он знал раньше, она – самая красивая и что такой у него больше никогда, наверное, не будет. Она стояла, опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень равнодушным, и она была самой красивой – у нее все было красивое. И всегда. И когда она плакала, и когда смеялась, и когда злилась, и когда ей было наплевать, и даже когда мерзла, а особенно – когда на нее находило... Ох и пьян же я, подумал Виктор, и разит, наверное, от меня, как от Р. Квадриги. Он вытянул нижнюю губу и подышал себе под нос. Ничего не разобрать.

– Дороги мокрые, скользкие, – говорил Тэдди. – Туман... А потом, я тебе скажу, что Росшепер этот – наверняка бабник, старый козел.

– Росшепер – импотент, – возразил Виктор, машинально проглотив очищенную.

– Это она тебе рассказала?

– Брось, Тэдди, – сказал Виктор. – Перестань.

Тэдди пристально на него посмотрел, потом вздохнул, крикнув, присел на корточки, покопался под стойкой и выставил перед Виктором пузырек с нашатырным спиртом и початую пачку чая. Виктор глянул на часы и стал смотреть, как Тэдди неторопливо достает чистый бокал, наливает в него содовую, капают из пузырька и все так же неторопливо мешают стеклянной палочкой. Потом он придвинул бокал к Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Свежая и отвратительная, отвратительно-свежая струя нашатыря ударила в мозг и разлилась где-то за глазами. Виктор потянул носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, и запустил пальцы в пачку с чаем.

– Ладно, Тэдди, – сказал он. – Спасибо. Запиши на меня, что полагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду.

Старательно жуя чай, он вернулся к своему столику. Очкастый молодой человек и его долговязый спутник торопливо поглощали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка – с местной минеральной водой. Павор и Голем, освободив место на скатерти, играли в кости, а доктор Р. Квадрига, охватив нечесаную голову, монотонно бубнил:

– «Легион Свободы – опора президента». Мозаика... В счастливый день именин вашего высокопревосходительства... «Президент – отец детей». Аллегорическая картина...

– Я пошел, – сказал Виктор.

– Жаль, – сказал Голем. – Впрочем, желаю удачи.

– Привет Росшеперу, – сказал Павор, подмигнув.

– «Член парламента Росшепер Нант», – оживился Р. Квадрига. – Портрет. Недорого. Поясной...

Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. Позади доктор Р. Квадрига ясным голосом произнес: «Я полагаю, господа, что нам пора познакомиться. Я – Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, а вот вас, сударь, я не припоминаю...» В дверях Виктор столкнулся с толстым тренером футбольной команды «Братья по разуму». Тренер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу.

Автобус остановился, и шофер сказал:

– Приехали.

– Санаторий? – спросил Виктор. Снаружи был туман, плотный, молочный. Свет фар рассеивался в нем, и ничего не было видно.

– Санаторий, санаторий, – проворчал шофер, раскуривая сигарету.

Виктор подошел к двери и, спускаясь с подножки, сказал:

– Ну и туманище. Ничего не вижу.

– Разберетесь, – равнодушно пообещал шофер. Он сплюнул в окошко. – Нашли место, где санаторий устраивать. Днем – туман, вечером – туман...

– Счастливого пути, – сказал Виктор.

Шофер не ответил. Взвыл двигатель, захлопнулись двери, и огромный пустой автобус, весь стеклянный и освещенный изнутри, как закрытый на ночь универмаг, развернулся, сразу превратившись в мутное пятно света, и укатил обратно в город. Виктор с трудом, перебирая руками решетчатую изгородь, нашел ворота и ощупью двинулся по аллее. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он смутно различал впереди освещенные окна правого крыла и какую-то особенно глубокую тьму на месте левого, где сейчас спали намотавшиеся за день под дождем «Братья по разуму». В тумане, словно сквозь вату, слышались обычные звуки – играла радиола, дребезжала посуда, кто-то хрипло орал. Виктор продвигался, стараясь держаться середины песчаной аллеи, чтобы не налететь ненароком на какую-нибудь гипсовую вазу. Бутылку с джином он бережно прижимал к груди и был очень осторожен, но тем не менее вскоре споткнулся о мягкое и прошелся на четвереньках. Позади вяло и сонно выругались в том смысле, что надо, мол, зажигать свет. Виктор нашарил в сумраке упавшую бутылку, снова прижал ее к груди и пошел дальше, выставив свободную руку. Скоро он столкнулся с автомобилем, ощупью обошел его и столкнулся с другим. Дьявол, здесь оказалась целая куча автомобилей. Виктор, ругаясь, блуждал среди них, как в лабиринте, и долго не мог выбраться к смутному сиянию, означавшему вход в вестибюль. Гладкие бока автомобилей были влажными от осевшего тумана. Где-то рядом хихикали и отбивались.

В вестибюле на этот раз было пусто, никто не играл в жмурки, никто, трясая жирным задом, не бегал в пятнашки, никто не спал в креслах. Повсюду валялись скомканные плащи, а некий остряк повесил шляпу на фикус. Виктор поднялся по ковровой лестнице на второй этаж. Музыка гремела. Справа в коридоре все двери в апартаменты члена парламента были распахнуты, оттуда несло жирными запахами пищи, курева и разгоряченных тел. Виктор повернул налево и постучал в комнату Дианы. Никто не отозвался. Дверь была заперта, ключ торчал в замочной скважине. Виктор вошел, зажег свет и поставил бутылку на телефонный столик. Послышались шаги, и он выглянул наружу. Направо по коридору широкой и твердой походкой удалялся рослый человек в черном вечернем костюме. На лестничной площадке он остановился перед зеркалом, вскинул голову, поправил галстук (Виктор успел разглядеть изжелта-смуглый орлиный профиль и острый подбородок), а затем в нем что-то изменилось: он ссутулился, слегка перекосился набок и, гнусно виляя бедрами, скрылся в одной из распахнутых дверей. Пижон, неуверенно подумал Виктор. Блевать ходил... Он поглядел налево. Там было темно.

Виктор снял плащ, запер комнату и отправился искать Диану. Придется заглянуть к Росшеперу, подумал он. Где ей еще быть?

Росшепер занимал три палаты. В первой недавно жрали: на столах, покрытых замаранными скатертями, громоздились грязные тарелки, пепельницы, бутылки, мятые салфетки, и никого не было, если не считать одинокой потной лысины, храпевшей в блюде с заливным.

В смежной палате дым стоял коромыслом. На гигантской Росшеперовой кровати брыкались полураздетые нездешние девчонки. Они играли в какую-то странную игру с апоплексически багровым господином бургомистром, который зарывался в них, как свинья в желуди, и тоже брыкался и хрюкал от удовольствия. Тут же присутствовали: господин полицмейстер без

кителя, господин городской судья с глазами, вылезшими из орбит от нервной одышки, и какая-то незнакомая юркая личность в сиреновом. Эти трое азартно сражались в детский бильярд, поставленный на туалетный столик, а в углу, прислоненный к стене, сидел, раскинув ноги, облаченный в перепачканный вицмундир директор гимназии с идиотской улыбкой на устах. Виктор уже собрался уходить, когда кто-то поймал его за штанину. Он глянул вниз и отпрянул. Перед ним стоял на четвереньках член парламента, кавалер орденов, автор нашумевшего проекта об обрыблении Китчиганских водоемов Росшепер Нант.

– В лошадки хочу, – просительно проблеял Росшепер. – Давай в лошадки! И-го-го! – Он был невменяем.

Виктор деликатно освободился и заглянул в последнюю палату. Там он увидел Диану. Сначала он не понял, что это Диана, а потом кисло подумал: очень мило! Здесь было полно народу, каких-то ползнакомых мужчин и женщин, они стояли кругом и хлопали в ладоши, а в центре круга Диана отплясывала с тем самым желтолицым пижоном, обладателем орлиного профиля. У нее горели глаза, горели щеки, волосы летали над плечами, и черт был ей не брат. Орлиный профиль очень старался соответствовать.

Странно, подумал Виктор. В чем дело?.. Что-то здесь было не так. Танцует он хорошо, он просто прекрасно танцует. Как учитель танцев. Не танцует, а показывает, как танцевать... Даже не как учитель, а как ученик на экзаменах. Очень хочет получить пятерку... Нет, не то. Слушай, милый, ты же с Дианой танцуешь! Неужели ты этого не замечаешь? Виктор привычно напряг воображение. Актер танцует на сцене, все хорошо, все прекрасно, все идет как надо, без накладок, а дома несчастье... Нет, не обязательно несчастье, просто ждут, когда же он вернется, и он тоже ждет, когда дадут занавес и погасят огни... И даже никакой не актер, а посторонний человек, изображающий актера, который сам играет совсем уж постороннего человека... Неужели Диана не чувствует? Это же фальшивка. Манекен. Ни капли близости между ними, ни капли соблазна, ни тени желанья... Говорят друг другу что-то, представить невозможно – что. Шерочка с машерочкой... Вы не вспотели? Да, читал, и даже два раза... Тут он увидел, что Диана, распихивая гостей, бежит к нему.

– Пошли плясать! – закричала она еще издали.

Кто-то преградил ей дорогу, кто-то схватил ее за руку, она вырвалась, смеясь, а Виктор все искал глазами желтолицего и не находил, и это неприятно его беспокоило.

Она подбежала к нему, вцепилась в рукав и потащила в круг.

– Пошли, пошли! Здесь все свои – вся пьянь, рвань, дрянь... Покажи им, как надо! Этот мальчишка ничего не умеет...

Она втащила его в круг, кто-то в толпе заорал: «Писателю Баневу – ура!» Замолкшая на секунду радиолоа снова залаяла и залазгала, Диана прижалась к нему, потом отпрянула, от нее пахло духами и вином, она была горячая, и Виктор теперь ничего не видел, кроме ее возбужденного прекрасного лица и летящих волос.

– Пляши! – крикнула она, и он стал плясать.

– Молодец, что приехал.

– Да. Да.

– Зачем ты трезвый? Вечно ты трезвый, когда не надо.

– Я буду пьяный.

– Сегодня ты мне нужен пьяный.

– Буду.

– Чтобы делать с тобой что хочу. Не ты со мной, а я с тобой.

– Да.

Она удовлетворенно смеялась, и они плясали молча, ничего не видя и ни о чем не думая. Как во сне. Как в бою. Такая она была сейчас – как сон, как бой. Диана, На Которую Нашло... Вокруг били в ладоши и вскрикивали, кажется, еще кто-то пытался плясать, но Вик-

тор отшвырнул его, чтобы не мешал, а Росшепер протяжно кричал где-то неподалеку: «О мой бедный пьяный народ!»

– Он импотент?

– Еще бы. Я его мою.

– И как?

– Абсолютно.

– О мой бедный пьяный народ! – стонал Росшепер.

– Пошли отсюда, – сказал Виктор.

Он поймал ее за руку и повел. Пьянь и рвань расступалась перед ними, воняя спиртом и чесноком, а в дверях путь преградил губастый молокосос с румянцем во всю щеку и сказал что-то наглое, кулаки у него чесались, но Виктор сказал ему: «Потом, потом», – и молокосос исчез. Держась за руки, они пробежали по пустому коридору, затем Виктор, не выпуская ее руки, отпер дверь и, не выпуская ее руки, запер дверь изнутри... и было жарко, стало нестерпимо жарко, душно... и комната была сначала широкая и просторная, а потом сделалась узкой и тесной, и тогда Виктор встал и распахнул окно, и черный сырой воздух залил его голые плечи и грудь. Он вернулся на кровать, нашарил в темноте бутылку с джином, отхлебнул и передал Диане. Потом он лег, и слева тек холодный воздух, а справа было горячее шелковистое и нежное. Теперь он слышал, что пьянка продолжается – гости пели хором.

– Это надолго? – спросил он.

– Что? – спросила Диана сонно.

– Долго они будут выть?

– Не знаю. Какое нам дело? – Она повернулась на бок и легла щекой на его плечо. –

Холодно, – пожаловалась она.

Они повозились, забираясь под одеяло.

– Не спи, – сказал он.

– Угу, – пробормотала она.

– Тебе хорошо?

– Угу.

– А если за ухо?

– Угу... Отстань, больно.

– Слушай, а нельзя здесь пожить недельку?

– Можно.

– А где?

– Я спать хочу. Дай поспать бедной пьяной женщине.

Он замолчал и лежал не шевелясь. Она уже спала. Так я и сделаю, подумал он. Здесь будет хорошо, тихо. Только не вечером. А может быть, и вечером. Не станет же он пьянствовать каждый вечер, ему ведь лечиться надо... Пожить здесь денка три-четыре... пять-шесть... и поменьше пить, совсем не пить, и поработать... давно я не работал... Чтобы начать работать, надо хорошенько заскучать, чтобы ничего больше не хотелось... Он вздрогнул, задремывая. Насчет Ирмы... Насчет Ирмы я напишу Роц-Тусову, вот что я сделаю. Не струсил бы Роц-Тусов, трус он. Должен мне девятьсот крон... Когда речь заходит о господине президенте, все это не имеет значения, все мы становимся трусами. Почему мы все такие трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемены мы боимся. Нельзя будет пойти в писательский кабак и пропустить рюмку очищенной... швейцар не будет кланяться... и вообще швейцара не будет, самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники... это действительно плохо... Но это же редко, времена не те... смягчение нравов... Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться, в общем, нечего, а все равно боюсь. Потому что тупая сила, подумал он. Это страшная штука, когда против тебя тупая, свиная со щетиной сила, неуязвимая, ни для логики неуязвимая, ни для эмоций... И Дианы не будет...

Он задремал и снова проснулся, потому что под открытым окном громко разговаривали и ржали, как животные. Затрещали кусты.

– Не могу я их сажать, – сказал пьяный голос полицмейстера. – Нет такого закона...

– Будет, – сказал голос Росшепера. – Я депутат или нет?

– А такой закон есть, чтобы под городом – рассадник заразы? – рывкнул бургомистр.

– Будет! – упрямо сказал Росшепер.

– Они не заразные, – проблеял фальцетом директор гимназии. – Я имею в виду, что в медицинском отношении...

– Эй, гимназия, – сказал Росшепер, – расстегнуться не забудь.

– А такой закон есть, чтобы честных людей разоряли? – рывкнул бургомистр. – Чтобы разоряли, есть такой закон?

– Будет, я тебе говорю! – сказал Росшепер. – Я депутат или нет?

Чем бы их садануть? – подумал Виктор.

– Росшепер! – сказал полицмейстер. – Ты мне друг? Я тебя, подлеца, на руках носил. Я тебя, подлеца, выбирал. А теперь они шляются, заразы, по городу, и я ничего не могу. Закона нет, понимаешь?

– Будет, – сказал Росшепер. – Я тебе говорю – будет. В связи с заражением атмосферы...

– Нравственной! – вставил директор гимназии. – Нравственной и моральной.

– Что?.. В связи, говорю... с отравлением атмосферы и по причине недостаточного обрыбления прилежащих водоемов... заразу ликвидировать и учредить в отдаленной местности. Годится?

– Дай я тебя поцелую, – сказал полицмейстер.

– Молодец, – сказал бургомистр. – Голова. Дай я тоже...

– Ерунда, – сказал Росшепер. – Раз плюнуть... Споем? Нет, не желаю. Пошли еще по маленькой.

– Правильно. По маленькой – и домой.

Снова затрещали кусты, Росшепер сказал уже где-то в отдалении: «Эй, гимназия, застегнуться забыл!» – и под окном стало тихо. Виктор снова задремал, просмотрел какой-то незначительный сон, а потом раздался телефонный звонок.

– Да, – сказала Диана хрипло. – Да, это я... – Она откашлялась. – Ничего, ничего, я слушаю... Все хорошо, он был, по-моему, доволен... Что?

Она разговаривала, перевалившись через Виктора, и вдруг он почувствовал, как напряглось ее тело.

– Странно, – сказала она. – Хорошо, я сейчас посмотрю... Да... Хорошо, я ему скажу.

Она положила трубку, перелезла через Виктора и зажгла ночник.

– Что случилось? – спросил Виктор сонно.

– Ничего. Спи, я сейчас вернусь.

Сквозь прижмуренные веки он смотрел, как она собирает разбросанное белье, и лицо у нее было такое серьезное, что он встревожился. Она быстро оделась и вышла, на ходу одергивая платье. Росшеперу плохо, подумал он, прислушиваясь. Допился, старый мерин. В огромном здании было тихо, и он отчетливо слышал шаги Дианы в коридоре, но она пошла не направо, как он ожидал, к Росшеперу, а налево. Потом скрипнула где-то дверь, и шаги стихли. Он повернулся на бок и попробовал снова заснуть, но сна не было. Он понял, что ждет Диану и что ему не заснуть теперь, пока она не вернется. Тогда он сел и закурил. Желвак на затылке принялся пульсировать, и он поморщился. Диана не возвращалась. Почему-то он вспомнил плясуна с орлиным профилем. Он-то здесь при чем? – подумал Виктор. Артист, который играет другого артиста, который играет третьего... А, вот в чем дело: он появился как раз оттуда, слева, куда ушла Диана. Дошел до лестничной площадки и превратился в пижона. Сначала играл светского льва, а потом стал играть разболтанного хлыща... Виктор снова прислушался. На ред-

кость тихо, все спят... храпит кто-то... Потом снова скрипнула дверь, и послышались приближающиеся шаги. Вошла Диана, лицо у нее было по-прежнему серьезное. Ничего не кончилось, происшествие продолжалось. Диана подошла к телефону и набрала номер.

– Его нет, – сказала она. – Нет-нет, он ушел... Я тоже... Ничего, ничего, что вы. Спокойной ночи.

Она положила трубку, постояла немного, глядя в темноту за окном, затем села на кровать рядом с Виктором. В руке у нее был цилиндрический фонарик. Виктор закурил сигарету и подал ей. Она молча курила, о чем-то напряженно думая, а потом спросила:

– Ты когда заснул?

– Не знаю, трудно сказать.

– Но уже после меня?

– Да.

Она повернула к нему лицо.

– Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, драки...

– Нет, – сказал Виктор. – По-моему, все было очень мирно. Сначала они пели, потом Росшепер с компанией мочился у нас под окном, потом я заснул. Они уже собирались разъезжаться.

Она бросила сигарету за окно и поднялась.

– Одевайся, – сказала она.

Виктор усмехнулся и протянул руку за трусами. Слушаю и повинуюсь, подумал он. Хорошая вещь – повинование. Только не надо ни о чем спрашивать. Он спросил:

– Поедем или пойдем?

– Что?.. Сначала пойдем, а там видно будет.

– Кто-нибудь пропал?

– Кажется.

– Росшепер?

Он вдруг поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на него с сомнением. Она уже немного раскаивалась, что позвала его. Она спрашивала себя: а кто он, собственно, такой, чтобы брать его с собою?

– Я готов, – сказал он.

Она все еще сомневалась, задумчиво играя фонариком.

– Ну, ладно... тогда пошли. – Она не двигалась с места.

– Может быть, отломать у стула ножку? – предложил Виктор. – Или, скажем, у кровати?..

Она встрепенулась.

– Нет. Ножка не годится. – Она выдвинула ящик стола и достала огромный черный пистолет. – На, – сказала она.

Виктор насторожился было, но это оказался – спортивный мелкокалиберный. И к тому же без обоймы.

– Давай патроны, – сказал Виктор.

Она непонимающе посмотрела на него, потом посмотрела на пистолет и сказала:

– Нет. Патроны не понадобятся. Пошли.

Виктор пожал плечами и сунул пистолет в карман. Они спустились в вестибюль и вышли на крыльцо. Туман поредел, моросил хилый дождик. Машин у крыльца не было. Диана свернула в аллею между мокрыми кустами и включила фонарик. Дурацкое положение, подумал Виктор. Ужасно хочется спросить в чем дело, а спросить нельзя. Хорошо бы придумать, как спросить. Как-нибудь облически. Не спросить, а так – отпустить замечание с вопросом в подтексте. Может быть, драться придется? Неохота. Сегодня неохота. Буду бить рукояткой. Прямо между глаз... А как там мой желвак? Желвак оказался на месте и побаливал. Странные, однако, обязанности у медсестры в этом санатории... А ведь я всегда считал, что Диана – женщина с

тайной. С первого взгляда и все пять дней... Ну и сырость, надо было глотнуть перед уходом. Как только вернусь, сейчас же и глотну... А я молодец, подумал он. Никаких вопросов. Слушаю и повинуюсь.

Они обогнули крыло, пробрались через сирень и оказались перед оградой. Диана посветила. Одного железного прута в ограде не было.

– Виктор, – сказала она негромко. – Сейчас мы пойдем по тропинке. Ты пойдешь сзади. Смотри под ноги, и ни шагу в сторону. Понял?

– Понял, – покорно сказал Виктор. – Шаг влево, шаг вправо – считается побег...

Диана пролезла первой и посветила Виктору. Потом они очень медленно двинулись под гору. Это был восточный склон холма, на котором стоял санаторий. Вокруг шумели под дождем невидимые деревья. Раз Диана поскользнулась, и Виктор едва успел схватить ее за плечи. Она нетерпеливо вывернулась и пошла дальше. Каждую минуту она повторяла: «Смотри под ноги... Держись за мной». Виктор послушно смотрел вниз, на ноги Дианы, мелькающие в прыгающем светлом круге. Сначала он все ожидал удара по затылку, прямо по желваку, или чего-нибудь в этом роде, а потом решил: вряд ли. Концы с концами не сходились. Просто, наверное, удрал какой-нибудь псих – например, у Росшепера случилась белая горячка, и его придется вести назад, пугая разряженным пистолетом...

Диана неожиданно остановилась и что-то сказала, но ее слова не дошли до сознания Виктора, потому что в следующую секунду он увидел возле тропинки чьи-то блестящие глаза, неподвижные, огромные, пристально глядевшие из-под мокрого выпуклого лба – только глаза и лоб, и ничего больше, ни рта, ни носа, ни тела – ничего. Сырая тяжелая темнота, и в светлом круге – блестящие глаза и неестественно белый лоб.

– Сволочи, – сказала Диана перехваченным голосом. – Так я и знала. Зверье.

Она упала на колени, луч фонарика скользнул вдоль черного тела, и Виктор увидел какую-то блестящую металлическую дугу, цепь в траве, а Диана скомандовала: «Скорее, Виктор», – и он присел рядом с нею на корточки и только теперь понял, что это капкан, а в капкане – нога человека. Он обеими руками вцепился в железные челюсти и попытался развести их, но они подались чуть-чуть и сомкнулись снова. «Дурак! – крикнула Диана. – Пистолетом!» Он скрипнул зубами, ухватился поудобнее, напряг мускулы, так что захрустело в плечах, и челюсти разошлись. «Тащи», – хрипло сказал он. Нога исчезла, железные дуги снова сомкнулись и сжали ему пальцы. «Подержи фонарик», – сказала Диана. «Не могу, – виновато сказал Виктор. – Попался. Возьми у меня из кармана пистолет...» Диана, чертыхнувшись, полезла к нему в карман. Он снова развел капкан, она вставила между скобами рукоятку, и он освободился.

– Подержи фонарик, – повторила она. – Я посмотрю, что с ногой.

– Кость раздроблена, – сказал из темноты напряженный голос. – Несите меня в санаторий и вызывайте машину.

– Правильно, – сказала Диана. – Сейчас. Виктор, давай мне фонарик, а сам возьми его.

Она посветила. Человек сидел на прежнем месте, прислонившись к стволу дерева. Нижняя половина его лица была закутана черной повязкой. Очкарик, подумал Виктор. Мокрец. Как он сюда попал?

– Бери же, – нетерпеливо сказала Диана. – На спину.

– Сейчас, – отозвался он. Ему вспомнились желтые круги вокруг глаз. Подкатило к горлу. – Сейчас... – Он сел возле мокреца на корточки и повернулся к нему спиной. – Обнимите меня за шею, – сказал он.

Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и даже, казалось, не дышал, и он не стонал, когда Виктор оскальзывался, но всякий раз его тело сводило судорогой. Тропинка была гораздо круче, чем думал Виктор, и, когда они дошли до ограды, он основательно запыхался. Трудно оказалось протащить мокреца через щель в ограде, но и с этим они в конце концов справились.

- Куда его? – спросил Виктор, когда они подошли к подъезду.
- Пока в вестибюль, – ответила Диана.
- Не надо, – тем же напряженным голосом произнес мокрец. – Оставьте меня здесь.
- Здесь дождь, – возразил Виктор.
- Перестаньте болтать, – сказал мокрец. – Я останусь здесь.

Виктор промолчал и стал подниматься по ступенькам.

- Оставь его, – сказала Диана.

Виктор остановился.

- Какого черта, здесь же дождь, – сказал он.
- Не будьте дураком, – проговорил мокрец. – Оставьте... здесь...

Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся к двери и вошел в вестибюль.

- Кретин, – тихо сказал мокрец и уронил голову на его плечо.
- Болван, – сказала Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав. – Ты его убьешь, идиот!

Немедленно вынеси и положи его под дождь! Немедленно, слышишь? Ну, чего стоишь?

- С ума вы все посходили, – сердито и растерянно сказал Виктор.

Он повернулся, пнул дверь и вышел на крыльцо. Дождь словно только и ждал этого. Только что он лениво моросил, а тут вдруг хлынул настоящим ливнем. Мокрец тихонько застонал, поднял голову и вдруг задышал часто-часто, как загнанный. Виктор все еще медлил, инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса.

- Положите меня, – сказал мокрец.
- В лужу? – язвительно и горько спросил Виктор.
- Это безразлично... Положите.

Виктор осторожно опустил его на керамические плитки крыльца, и мокрец сразу раскинул руки и вытянулся. Правая нога его была неестественно вывернута, огромный лоб в свете сильной лампы казался синевато-белым. Виктор сел рядом на ступеньки. Ему очень хотелось уйти в вестибюль, но это было невозможно – оставить под проливным дождем раненого человека, а самому уйти в тепло. Сколько раз меня сегодня назвали дураком? – подумал он, обтирая лицо ладонью. Ох, что-то много. И, кажется, доля истины в этом есть, поскольку дурак, он же болван, он же кретин и прочее – это невежда, упорствующий в своем невежестве. А ведь, ей-богу, ему под дождем лучше! И глаза открыл, и не такие они у него теперь страшные... Мокрец, подумал он. Да, пожалуй, скорее мокрец, чем очкарик. Как это его в капкан занесло? И откуда здесь капканы? Второго мокреца сегодня встречаю, и у обоих неприятности. У них неприятности, и у меня из-за них тоже неприятности...

Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался.

- Нога!.. Да. Раздроблена кость... Хорошо... Ладно... Скорее, мы ждем.

Сквозь стеклянную дверь Виктор увидел, как она повесила трубку и побежала вверх по лестнице. Что-то у нас в городе стало с мокрецами нехорошо. Возня какая-то вокруг них. Что-то они стали всем мешать, даже директору гимназии. Даже Лоле, вспомнил он вдруг. Кажется, она тоже проходила насчет них... Он поглядел на мокреца. Мокрец смотрел на него.

– Как вы себя чувствуете? – спросил Виктор. Мокрец молчал. – Вам что-нибудь нужно? – спросил Виктор, повышая голос. – Глоток джину?

- Не орите, – сказал мокрец. – Я слышу.
- Больно? – сочувственно спросил Виктор.
- А как вы думаете?

На редкость неприятный человек, подумал Виктор. Впрочем, бог с ним – встретились и разошлись. А ему больно...

- Ничего, – сказал он. – Потерпите еще несколько минут. Сейчас за вами придут.

Мокрец ничего не ответил, лоб его сморщился, глаза закрылись. Он стал похож на мертвого – плоский и неподвижный под проливным дождем. На крыльцо выскочила Диана с докторским чемоданчиком, присела рядом и стала что-то делать с покалеченной ногой. Мокрец тихонько зарычал, но Диана не произносила успокаивающих слов, какие обычно говорят в таких случаях врачи. «Тебе помочь?» – спросил Виктор. Она не ответила. Он поднялся, и Диана, не поворачивая головы, проговорила: «Подожди, не уходи».

– Я не уйду, – сказал Виктор. Он смотрел, как она ловко накладывает шину.

– Ты еще понадобишься, – сказала Диана.

– Я не уйду, – повторил Виктор.

– Вообще-то ты можешь сбегать наверх. Сбегай, хлебни чего-нибудь, пока есть время, но потом сразу возвращайся.

– Ничего, – сказал Виктор. – Обойдусь.

Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары. Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался Юл Голем в своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над мокрецом, взял его руку. Мокрец глухо сказал:

– Никаких уколов.

– Ладно, – сказал Голем и посмотрел на Виктора. – Берите его.

Виктор взял мокреца на руки и понес к джипу. Голем обогнал его, распахнул дверцу и залез внутрь.

– Давайте его сюда, – сказал он из темноты. – Нет, ногами вперед... Смелее... Придержите за плечи...

Он сопел и возился в машине. Мокрец снова зарычал, и Голем сказал ему что-то непонятное, а может быть, выругался, что-то вроде: «Шесть углов на шее...» Потом он вылез наружу, захлопнул дверцу и, усаживаясь за руль, спросил Диану:

– Вы им звонили?

– Нет, – ответила Диана. – Позвонить?

– Теперь уж не стоит, – сказал Голем, – а то они все законопатят. До свидания.

Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее.

– Пойдем, – сказала Диана.

– Поплывем, – сказал Виктор. Теперь, когда все кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения.

В вестибюле Диана взяла его под руку.

– Ничего, – сказала она. – Сейчас переоденешься в сухое, выпьешь водочки, и все станет хорошо.

– Течет, как с мокрой собаки, – сердито пожаловался Виктор. – И потом, может быть, ты объяснишь, наконец, что здесь произошло?

Диана устало вздохнула.

– Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было фонарик забывать.

– А капканы на дорогах – это у вас в порядке вещей?

– Бургомистр ставит, сволочь...

Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору.

– Он сумасшедший? – осведомился Виктор. – Это же уголовное дело. Или он действительно сумасшедший?

– Нет. Он просто сволочь и ненавидит мокрецов. Как и весь город.

– Это я заметил. Мы их тоже не любили, но капканы... А что мокрецы им сделали?

– Надо же кого-то ненавидеть, – сказала Диана. – В одних местах ненавидят евреев, где-то еще – негров, а у нас – мокрецов.

Они остановились перед дверью, Диана повернула ключ, вошла, и зажегся свет.

- Подожди, – сказал Виктор озираясь. – Куда ты меня привела?
- Это лаборатория, – ответила Диана. – Я сейчас.

Виктор остался в дверях и смотрел, как она ходит по огромной комнате и закрывает окна. Под окнами на полу темнели лужи.

- А что он здесь делал ночью? – спросил Виктор.
- Где? – спросила Диана, не оборачиваясь.
- На тропинке... Ты ведь знала, что он здесь?

– Ну, понимаешь, – сказала она, – в лепрозории плохо с медикаментами. Иногда они приходят к нам, просят...

Она закрыла последнее окно и прошлась по лаборатории, оглядывая столы, заставленные приборами и химической посудой.

– Гнусно все это, – сказал Виктор. – Ну и государство. Куда ни поедешь – везде какая-нибудь дрянь... Пошли, а то я замерз.

– Сейчас, – сказала Диана.

Она взяла со стула какую-то темную одежду и встряхнула ее. Это был мужской вечерний костюм. Она аккуратно повесила его в шкафчик для спецодежды. Откуда здесь костюм? – подумал Виктор. Причем какой-то знакомый костюм...

– Ну вот, – сказала Диана. – Ты как хочешь, а я сейчас залезу в горячую ванну.

– Послушай, Диана, – сказал Виктор осторожно. – А кто был этот... с таким вот носом... желтолицый? С которым ты плясала...

Диана взяла его за руку.

– Видишь ли, – сказала она, помолчав, – это мой муж... Бывший муж.

3. Феликс Сорокин

Приключение

С вечера я не принял сутак, и не потому что забыл, а как-то осенило меня, что сутак нельзя запивать спиртным. И поэтому с утра я чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя: умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал... Коньяку осталось больше половины, и, наверное, «Салюта» на стакан хватило бы, я поколебался, не опохмелиться ли мне, однако тут же, очень некстати, вспомнил, что главным признаком алкоголизма нынешние врачи полагают синдром похмелья, и похмеляться не стал. Боже мой, подумал я, как это хорошо, что нет надо мной Клары и что я вообще один!

И конечно же, тут же позвонила Катька и, конечно же, озабоченно, однако не без яду, осведомилась: «Опять сосуды расширял?» И конечно же, опять пришлось мне врать и оправдываться, тем более что насчет постройки ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы: оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мой продуктовый заказ. Только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях плеснул себе с палец коньяку и слегка поправился.

А за окном погода сделалась чудесная. Вьюги вчерашней не было и в помине, солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового года, прихотливо изогнутый сугроб у меня в лоджии весело искрился, и подморозило, видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось, и не усматривалось никакой причины, мешающей сесть за сценарий.

Впрочем, предварительно я трижды позвонил в ателье – все три раза без всякого толка. Надо сказать, звонки эти носили чисто ритуальный характер: если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому, производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подленькую увертливость.

Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня: «Это не по ним, это по их товарищам справа...» И сначала все пошло у меня лихо, бодро-весело, по-суворовски, но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо, в который уже раз перечитываю последний абзац: «А Комиссар все смотрит на горящий танк. Из-под очков текут слезы, он не вытирает их, лицо его неподвижно и спокойно».

Я уже чувствовал, что застрял, застрял надолго и без всякого просвета. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут развиваться дальше: все события я продумал на двадцать пять страниц вперед. Нет, дело было гораздо хуже: я испытывал что-то вроде мозговой тошноты.

Да, я отчетливо видел перед собой и лицо Комиссара, и полуобрушенный окоп, и горящий «тигр». Но все это было словно из папье-маше. Из картона и из раскрашенной фанеры. Как на сцене захудалого дома культуры.

И в который раз я подумал с унылым удовлетворением, что писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто. Большинство из нас держится иного мнения – ну и что же? Правильно сказала дочь моя Катька: надо всегда оставаться в меньшинстве.

Да черт же подери, подумал я почти с отчаянием. Ведь есть же у нас люди, которым это дано, которым отпущено это судьбою в полной мере... Вергилии наши по катакомбам ни за что не забываемого огненно-ледяного ада... Симонов у нас есть, нежно мною любимый Константин Михайлович, и Василь Быков, горький мастер, и несравненный Богомолов, и порази-

тельный «Сашка» есть у Вячеслава Кондратьева, и Бакланов Гриша, тоже мой любимый, и ранний Бондарев... Да мне их всех и не перечислить. И не надо. К чему мне их перечислять, мне плакать надо, что никогда мне не быть среди них, – не заслужил я этого кровью, потом, грязью окопной не заслужил и теперь никогда уже не заслужу. Вот и выходит, что никакой нет разницы между маститым Феликсом Сорокиным и мальчишечкой пятьдесят четвертого года рождения, взявшемся вдруг писать о Курской дуге, – не о БАМе, заметьте, писать взявшемся и не о склоке в родном НИИ, а о том, что видел он только в кино, у Озерова видел. Такие вот пироги, Феликс Александрович, – если откровенно...

Я терпеть не могу таких вот пробуксовок в работе, я от них делаюсь больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов, у меня и без того много дел, нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на Банной.

Торопливо, сминая страницы, я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и принялся одеваться. «В движенье мельник должен жить...» – бормотал я, с кряхтением натягивая башмаки. «Вода примером служит нам!..» – спел я во весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу «Корягины». Я отгонял страх. «В крайнем случае отдам аванс!» – громко сказал я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то слишком уж часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки, а если говорить прямо – приступы отвращения к работе, которая меня кормит.

Стоя на лестничной площадке в ожидании лифта, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел, как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого, – похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем иссяк и стал не годен даже на дурацкие кудеса... А лифты все не поднимались, ни большой, ни малый, и я постучал по створкам одного и другого и прислушался. Снизу гулко доносились невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице.

На площадке десятого этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта, настезь распахнута и из нее выдвигается обширная спина в белом халате. «Ну вот, опять», – подумал я сразу же. И не ошибся. Костю Кудинова выносили на носилках, и большой лифт был раскрыт, чтобы вместить его. Костя был бледен до зелени, мутные глаза его то закатывались, то сходились к переносице, испачканный рот был вяло распущен.

Мне показалось вначале, что Костя пребывает без сознания, и я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые – соседи по дому и члены одной писательской организации, насчитывающей несколько тысяч человек. Как-то десяток лет назад во время какой-то кампании он публично выступил против меня – вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко. Правда, потом он принес извинения, сказавши, что спутал меня с другим Сорокиным, с Сорокиным из детской секции, так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удается собраться и посидеть. Но в остальном был он мне вообще-то никем, и вдобавок, поглядев на него, решил было я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы все было предоставлено равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в приготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз, я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло, а вечером рассказал бы об этом небольшом происшествии кому-нибудь в Клубе.

Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил.

– Феликс! – произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары враз остановились, ожидая продолжения. – Сам бог тебя ко мне послал, Феликс...

Тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождавсь продолжения, струнулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и все требовал, чтобы я записывал, и я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане: «М. Сокольники, Богородское шоссе, авт. 239,

Институт, Мартинсон Иван Давыдович, мафусаллин». То есть мне предстояло сейчас переться на противоположный край Москвы, отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого мафусаллина. («Хоть две-три капли... Мне не полагается, но все равно, пусть даст... Помру иначе...») Затем створки лифта сдвинулись, и я остался на площадке один.

Буду совершенно откровенен. Не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени. С какой стати? Кто он мне? Полузнакомый, упившийся поэт! Да еще выступавший против меня – пусть по ошибке, но ведь против, а не за! Я бы, конечно, никуда сейчас не поехал, в том числе и на Банную, слишком все это меня расстроило и раздражило. Но тут из Костиной квартиры вышел и встал рядом со мною у двери лифта еще один человек в белом халате. Судя по фонендоскопу и роговым очкам – врач, добрый доктор Айболит с незакуренной «беломориной» в углу рта. И я спросил его, что с Костей, и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть богу душу не отдал.

Створки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Косте этот самый мафусаллин. Врач непонимающе на меня взглянул, и я прочитал ему по слогам: ма-фу-сал-лин. Однако врач ничего про мафусаллин не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое и даже новейшее.

У «неотложки» мы расстались. Несчастливого Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился к метро.

Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признался себе – это было как откровение, – что Костя никогда не был мне симпатичен: совершенно чужой, суцеглупый и бесталанный человек. Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал, и с каждой минутой раздражение это становилось сильнее сочувствия. Какого черта я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт к какому-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым мафусаллином, о котором даже врач ничего не знает... бродить, расспрашивать, искать, а потом искательно упрасивать – ведь Костя сам признал, что ему не полагается... и ведь непременно выяснится, что никакого такого института нет, а если институт и есть, то нет в нем никакого Мартинсона... что все это вообще Костин бред, полубомбочные видения, отравлен же человек, и отравлен сильно...

Увязая в не убранном дворниками снегу, то и дело оскальзываясь на скрытых ледяных рытвинах, я пробирался к метро, придумывая себе все новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники к Мартинсону Ивану Давыдовичу, а потом с тремя каплями драгоценного мафусаллина обратно через всю Москву в Бирюлево спасти совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудинова, поэта...

Слава богу, метро от нас до Сокольников без пересадок, народа в это время (около двух) немного, я забрался в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное, профессиональное, если можно так выразиться, направление.

В который уже раз подумал я о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности, когда речь идет о внутреннем мире человека. Я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков, выразить нежелание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда. Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неопрятным пятном на образе – в глазах читателя и уж тем более в глазах издателя.

Вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Ему даже пьяницей дозволяется быть и даже, черт подери, стянуть плохо лежащее (бескорыстно, разумеется). Он может быть плохим семьянином, разгильдяем и неумехой, он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою: практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели литературному герою стать положительным, если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я, Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам – как отечественным, так и зарубежным – в лучшем случае являюсь нравственным калекой.

Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Во-первых, сегодня опять можно было не ехать на Банную под предлогом не только вполне законным, но и высокогуманным. Во-вторых... Во-вторых, достаточно во-первых. На обратном пути я возьму такси, деньги, слава богу, есть. Смогаюсь в Бирюлево, отдам этот мафусаллин и на том же такси прямиком в Клуб...

Я стал задремывать и подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства. Мафусаллин. Оно вызывает ассоциации. Турция. Ближний Восток почему-то. Мафусаил. Библия?..

Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял, руки в карманы, какой-то мужчина без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопать себе по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно:

– К Мартинсону Ивану Давыдовичу как мне пройти?

За окошечком пил из блюдца чай вприкуску сморщенный старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражечку с кантом и аккуратно напялил ее себе на плешь.

– Пропуск, – сказал он.

Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра еще его предупредили, что полезет сегодня один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загордил собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. Чем жалобней я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо на Банную и затем в Клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и, очень довольный, повернулся и вышел.

Ах, не тут-то было!

– Не пускает, – утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами.

– Гнида старая, персидская, – объяснил я ему.

И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходную нынче никто не ходит, не пускают никого через проходную, а ходят нынче все сквозь забор, в ста шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят, потому что кому это охота по Богородскому вдоль забора три версты крюка давать, а так ты сквозь забор, через территорию и снова сквозь забор, и ты у винного.

Что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указаниям. От пролома в заборе через занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка. Справа от дорожки громоздилась какая-то законсервированная стройка, а слева возвышался пятиэтажный корпус белого кирпича с широкими школьными

окнами. Видимо, это и был собственно институт. К нему от дорожки ответвлялась тропа, тоже хорошо утоптанная.

У входа в институт (широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком) трое мужчин, опять-таки без пальто и в шапках с задранными ушами, вскрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль.

Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп, и было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а двинулся прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро-озабоченное выражение и стараясь выставлять напоказ свою папку.

Потом я причесался перед зеркалом и поднялся по лестнице на второй этаж. Почему именно на второй – я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы, и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро-озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зачем я здесь и имею ли я право.

Я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня, объяснил, что Мартинсон, скорее всего, у себя в нужнике, это на третьем этаже сразу за скелетами направо, а номер нужника – тридцать семь.

Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил, не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью, а нужник номер тридцать семь оказался большой, очень светлой комнатой. Было там множество стекла и мигающих огоньков, на экранах, как и положено, змеились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами, а посередине комнаты, спиной ко мне, сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону.

– Брось! – гремел он. – Какой закон? Напирай плотней! Оставь! При чем здесь Ломоносов – Лавуазье? Главное, напирай плотней!

Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рявкнул:

– В местком, в местком!

Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечист, с могучей шеей и с всклокоченной пегой шевелюрой.

– Я сказал – в местком! – гаркнул он. – С трех до пяти! А здесь у нас разговора не будет, вам ясно?

– Я от Кости Кудинова, – произнес я.

Он как бы споткнулся.

– От Кости? А в чем дело?

Я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь.

– А вы, собственно, кто такой? – спросил он. Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза он мне не смотрел.

– Я его сосед.

– Это я понял, – сказал он нетерпеливо. – Кто вы такой, вот что я спрашиваю...

Я представился.

– Мне это имя ничего не говорит, – объявил он и уставился мне в переносицу. Глаза у него были черные, близко посаженные, двустволка, да и только.

Я разозлился. Черт подери! Опять меня заставляют оправдываться!

– А мне ваше имя тоже, между прочим, ничего не говорит, – сказал я. – Однако вот я через всю Москву к вам перся...

– Документ у вас есть какой-нибудь? – прервал он меня. – Хотя что-нибудь...

Документов у меня не было. Не ношу. Он подумал.

– Ладно, я сам этим займусь. В какой, вы говорите, он больнице?

Я повторил.

– Чтоб его там... – пробормотал он. – Действительно, другой конец Москвы... Ну, ладно, идите. Я займусь.

Внутренне клокоча, я повернулся, чтобы идти, и уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился.

– Па-азвольте! – пророкотал он. – А как же вы сюда попали? Без пропуска! У вас даже документов нет!

– А через дыру! – сказал я ядовито.

– Через какую дыру?

– А в заборе! – сказал я мстительно и вышел. Весь в белом.

Я спускался по лестнице, когда меня поразила ужасная мысль: а вдруг этот лютый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вохровцы попеременно с плотниками, и я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулюс... Не удержавшись, я побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его ботулизмом и свою хромую судьбу. Только заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком как подобает деловому, хмуро-озабоченному человеку с карманами, набитыми пропусками и документами.

Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся. Сам не знаю почему. И вот что я увидел. За стеклянной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон, собственной персоной. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Стыдно признаться, но я снова перешел на бег. Несмотря на мои сосуды. Несмотря на мое брюхо. Несмотря на мою перемежающуюся хромоту. Лишь когда я, нырнув в дыру, вынырнул на Богородском шоссе, чувство собственного достоинства моего возопило наконец, и я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень не нравилось мне это приключение, и особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон, и я снова и снова проклинал Костю с его ботулизмом и давал себе клятву, что впредь никогда, и никто, и ни за что...

После всех этих передраг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на Банную. Только в Клуб. Только в Клуб! В наш ресторанный зал, обшитый коричневым деревом! В атмосферу прельстительных запахов! За мой столик под крахмальной скатертью! Под крылышко к Сашеньке... хотя нет, сегодня нечетный день. Значит, под крылышко к Аленушке! Правильно, и сразу же отдать ей долг, и заказать селедочку, масляно поблескивающую, жирную, тающую, ломтиками, посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней три-четыре горячих рассыпчатых картофелины и тут же кубик масла прямо из ледяной воды, и пузатый графинчик (нет-нет, без этого не обойдется, я это заслужил сегодня)... и еще соленые грузди, сопливенькие, в соку, попеременно с репчатым луком кольчиками, и по потребности минеральной... или пива?... нет, минеральной... А притушив первый голод и взвинтив в себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в Клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас в тусклом металлическом бачке, янтарная, парящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мяса разного вида и черные лоснящиеся маслины... Батюшки, главное чуть не забыл! Калач! Наш знаменитый клубный калач с ручкой для держания, пухлый, мягкий, поджаристый... и парочку надо будет прихватить с собою домой. Ну-с, теперь второе...

Однако второе просмаковать я не успел, потому что почувствовал вдруг какое-то неудобство, неловкость какую-то и, вернувшись к действительности, обнаружил, что мчусь уже в метро, двое долговязых с сумками «адидас» нависают надо мною, а в просвет между ними уставились на меня сквозь стекла очков пристальные светлые глаза. Лишь одну секунду я видел эти глаза, а также рыжую норвежскую бородку и белое кашне между отворотами клетчатого

пальто, а затем поезд начал тормозить, долговязые сомкнулись, и мой наблюдатель исчез из виду.

Мне показалось, что глядел он на меня неприлично внимательно, словно у меня было что-то не в порядке с одеждой или лицо испачкано. На всякий случай я даже проверил, не нахлобучил ли второпях шапку задом наперед. Впрочем, когда через минуту между долговязыми вновь образовался просвет, мой наблюдатель мирно дремал, сложив на животе руки, – средних лет мужчина, очки в металлической оправе и клетчатое пальто, какие были в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто мое воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже: с одной стороны, например, они были черные в серую клетку, а навыворот – серые в черную.

Мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений, и я вспомнил почему-то, как лежал в больнице и целый месяц меня кормили чудовищно пресной, нарочито вываренной пищей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили Катке принести мне холодного цыпленка табака. О том, что предстоит в этом смысле отравленному Косте, страшно было подумать. Да и некогда мне было думать об этих вещах, потому что поезд остановился на «Кропоткинской», и я заторопился к выходу.

Подслеповатая дежурная в дверях Клуба потребовала, чтобы я предъявил писательский билет, и в который раз я попытался втолковать ей, что вот уже четверть века состою в писателях и по крайней мере пять лет прохожу в Клуб мимо нее, старой кочерыжки. Она не поверила ни единому моему слову, но тут дядя Коля прогудел из недр гардероба: «Свой, свой, Марья Трофимовна!» – и я был пропущен.

Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочито неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставив вместо него монетку, причесался и расчесал усы, раскланиваясь с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, а затем, продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта, отстраняясь от всего неудобного и тревожного, бодро зашагал в ресторанный залу.

А далее все получилось по программе, с тем только отклонением, что не оказалось соленных груздей. Когда я доедал солянку, к столику моему начала прибаваться обычная компания. Первым был Гарик Аганян, у которого через час начинался ихний семинар. Пить он поэтому не стал и заказал себе что-то пустяковое. Двух слов мы сказать не успели, как из-за столика в дальнем углу поднялся и приблизился к нам, хромая, Жора Наумов. В одной руке он держал наполовину опорожненный графинчик, а в другой – пиалу с остатками столичного салата. Выяснилось, что нынче утром он забежал в Москву по дороге из Краснодара в Таллинн. Виды на урожай на юге, оказывается, хорошие, а что до остального, то оно, как всегда, в руках божьих. И тут же возник на нашем горизонте Валя Демченко, держа под мышкой новую трость с рукояткой в виде львиной лапы.

Мы обсудили эту трость, поговорили об урожае озимых и о прошлогоднем нашествии филлоксеры; Гарик, чертя вилкой по скатерти, объяснил нам, как надлежит понимать появившуюся в центральной прессе заметку под названием «Дыра во Вселенной», а потом я рассказал про мои с Костей Кудиновым сегодняшние беды.

Это мое сообщение вызвало реакцию вялую и не вполне мною ожидаемую. Гарик пробормотал пренебрежительно: «Ничего, выплывет, дерьмо не тонет». Валя лениво процитировал старую, им же самим о Косте придуманную хохму: «Вчера помощник председателя Иностранной комиссии товарищ Кудинов принял в Белом зале группу писателей Парагвая (пауза) за группу писателей Уругвая...» А Жора Наумов, разглядывая мир сквозь рюмочку с водочкой, пересказал нам выступление студента Литинститута Кости Кудинова, в те поры румяного, задорного и непьющего, на общем собрании курса в памятном тысяча девятьсот сорок девятом. Когда Жора закончил, все помолчали, а затем Валя с интересом спросил: «Ну, и что же ты?» – «А что я? – агрессивно произнес Жора. – Хотел ему морду набить, так ведь он был тогда

здоровенный, штангист, разрядник, понимаешь, а у меня обе ноги прострелены, я тогда меж двух костылей болтался, как стариковская мошонка меж ног...» – «Но потом, – сказал Гарик, – когда ты без костылей заходил... и вообще, в благословенном пятьдесят девятом... он перед тобой, случайно, не извинялся?» – «А как же! Даже стихи мне посвятил. В „Литературке“. На манер Пушкина, про лицейскую дружбу...» – «Пожалуй, будь себе татарин?...» – ядовито предположил Валя. Мы поржали – не очень весело, впрочем, и заговорили о стихах, а потом разговор как-то незаметно перекинулся на Банную.

Выяснилось, что все, кроме меня, на Банной уже побывали.

Дисциплинированный Гарик сходил туда сразу же, еще в октябре. Абсолютно ничего интересного. Довольно убогая машина, может быть, ЕС-1020, а может быть, и вовсе какой-нибудь «Минск» поплосше. Сидит тунеядец в черном халате, берет у тебя рукопись и по листочку сует ее в приемную щель. На дисплее загораются цифры, а засим можешь спокойно идти домой.

Жора, побывавший там под самый Новый год, возразил, что никакой машины там не было, а были там какие-то серые шкафы, тунеядец был не в черном халате, а в белом, и пахло там печеной картошкой. В общем, мура, обман трудящихся. Если хотите знать мое мнение, сказал Жора Наумов, он же Гирш Наумович, то все очень просто: какой-то еврей из Академии наук охмурил нашего Теодор Михеича и гонит себе сейчас докторскую из нашего трудового пота.

В ответ на этот антисемитский выпад Валя Демченко возразил, что это было бы еще полбеда, а беда (с таинственным видом сообщил он) состоит в том, что вот уже много лет идет разработка кибернетического редактора. Ученые – писателям. В порядке помощи. Собственно, сам робот-редактор уже создан, и теперь его на наших рукописях только дрессируют. И вот когда эта машина вступит в строй, вот тут нам всем будет конец, потому что она не только грамматические ошибки будет исправлять и стиль править, она, дяденьки, подтекст на два метра под текстом будет углядывать. Она, дяденьки, сразу определит, кто есть кто и почему.

Я с уважением смотрел на Валу, ощущая в этой его вдохновенной белиберде флер некоего благородного, близкого мне безумия. Гарик откровенно хихикал, а Жора, человек, близкий к земле, сердито спросил, откуда это ему, Валентину, может быть известно.

– В глаза! – проникновенно произнес Валя. – В глаза надо человеку смотреть, дяденька! Не какой у него там халат, черный или белый, а в глаза! Я как в глаза ему посмотрел, так все и понял!

Гарик налил ему пива, и Валя продолжал. Робот-редактор, оказывается, был только зарею новой эры. Это машина громоздкая, стационарная, дорогая. А вот на подходе уже, если хотите знать, дяденьки, специальные пишущие машинки, пока еще только для нас, прозаиков. На этих машинках установлены электронные цензурные ограничители. Представляете? Печатаешь ты двумя пальцами «жопа», а на бумаге выходит: «окорока», «пятая точка», «афедрон» и уж в самом крайнем случае «ж» с тремя точками.

И тут среди нас возник Петенька Скоробогатов по прозвищу Ойло Союзное. Только что его не было, и вот он уже сидит между Гариком и Валею и наливает себе водки из моего графинчика. Глаза у него по обыкновению воспалены и бегают, и по обыкновению идет он красными пятнами и шелушится.

Как всегда, был он распираем новостями и слухами, которые поначалу казались важными и верными, но, будучи выпущены на вольный воздух, тут же портились и оборачивались враньем и хвастовством. Разговаривать стало невозможно, и мы с горя принялись слушать.

Для начала он сообщил, что по поводу Банной у него есть достовернейшие слухи прямо ОТТУДА. (Толстый указательный палец уставляется в потолок.) Валя правильно говорит: сейчас все дела переводят на машины, потому что коррупция всех заела и никому верить нельзя. Кадровую машину уже запустили, и она выдала указание снять всех директоров издательств и

всех главных редакторов в Москве. Он, Петенька Скоробогатов, поэтому подождет подписывать два договора, которые ему давеча прислали. Почему? А потому что смысла нет. Все равно будут назначены новые директора и новые главные, и договоры будут пересматривать...

– Вы меня не перебивайте, потому что завтра я уезжаю в Замбию, мне еще прививки надо делать, а вы меня все время перебиваете... Я вам насчет Банной хочу объяснить. Там машина – особенная. Она показывает талант. В абсолютных единицах. Сашка Толоконников знаете что учинил? Подсунул им в машину вместо своей галиматьи пять страниц из «Тихого Дона»! Машину, конечно, к едрене фене зашкалило, на такой уровень, сами понимаете, никто у них там не рассчитывал, ну и теперь Сашку на ковер. За поступок, недостойный советского писателя... Да Сашка – что! Сама Ираида с одра поднялась и черновики свои туда потащила. Она-то думала, что машина ее подтвердит и восславит, а машина ей – бац! – ноль целых хрен десятых! Так она их всех там зонтиком, зонтиком, что ты! Вы тут сидите, ничего не знаете, а вчера я туда сунулся, на Банную, а там оцепление, конная милиция... Михеич трясется, сам не рад, что все это затеял, ему же тоже туда идти... Я ему говорю: «Михеич, говорю, ну что ты боишься? Хочешь, говорю, мои черновики?..»

Да, вот он у нас какой, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное. Я выпил рюмку водки и стал размышлять о том, что ничего на свете придумать нельзя. Придумано уже все. Я вспомнил, как лет пятнадцать назад покойный Анатолий Ефимович однажды разоткровенничался и рассказал мне замысел своей новой комедии. Дело у него там происходило в писательском доме творчества, и вот какой-то изобретатель приволакивает туда свой фантастический аппарат... Как же он его называл? Ужасно неуклюже, помнится... Да! «Испитал»! «Измеритель писательского таланта». Писатели сначала по глупости своей радуются – наконец-то все узнают, что Иванов дерьмо, а я гений. Но потом, когда машина стала дарить их объективной истиной... В общем, машину они, кажется, разнесли по винтикам, а на изобретателя сообща написали донос со всеми вытекающими последствиями... И как же был огорчен Анатолий Ефимович, когда я, извиняясь и оправдываясь, дал ему прочесть «Мензуру Зоили» Акутагавы, написанную еще в шестнадцатом году и изданную у нас на русском в середине тридцатых! Ничего нельзя придумать. Все, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле.

Я стукнул кулаком по столу и, глядя Петеньке Скоробогатову прямо в свинячьи его глазки, процитировал на весь зал:

– «С тех пор как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной, – всем им теперь крышка!»

После чего встал и направился в туалет. Я был уже основательно набравшись. Я чувствовал это потому, что щеки у меня онемели и все время хотелось выпячивать нижнюю челюсть. Пожалуй, на сегодня было достаточно. Пора было возвращаться к пенатам, тем более что может зайти Катька с заказом, да и оставалось еще у пенатов не менее полбутылки коньяку. И было еще что-то там у пенатов, что я должен был сделать. Но вот что именно?

На обратном пути я вспомнил. Должно было мне позвонить и узнать, как там дела у Кости Кудинова, поэта, не загнулся ли он. А то я тут водку пью с Петенькой Скоробогатовым, с Ойлом моим Союзным, а Костя между тем, может быть, концы отдает. Несправедливо.

Трубку на Костиной квартире взяла его жена. Голос у нее был ничего себе, довольно бодрый. Я представился и спросил:

– Ну, как там Костя вообще?

– Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс Александрович! Я только что от него, только-только вошла... Феликс Александрович, он очень, очень просит, чтобы вы к нему зашли!

– Обязательно, – сказал я. – А как он вообще?

– Да все обошлось, слава богу. Значит, вы зайдете?

– Вообще-то... – промямлил я. – Завтра, пожалуй, в это время.

– Нет! Нет, Феликс Александрович, он просил – непременно сегодня! Он так мне и сказал: позвонит Феликс Александрович, и ты ему скажи, чтобы он ОБЯЗАТЕЛЬНО сегодня! Что очень срочно, важно очень...

– Вообще-то ладно... – сказал я, и мы распрощались.

Никогда не надо делать добрые дела, думал я, возвращаясь в ресторан. Стоит только начать, и конца им не будет. Причем, обратите внимание, ни слова благодарности. Целый день мотаюсь по Москве из-за этого симулянта, одного страха сколько натерпелся, и вечером – пожалуйста, опять все сначала, тащись куда-то, как верблюд, и ни слова благодарности...

Гарика за столом уже не было, он ушел на свой семинар, а на его месте сидел Петенькин приятель. В лицо я его знаю, несколько раз мне его представляли, но как его зовут – я не помню, и какое он имеет отношение к литературе – представления не имею. По-моему, он целыми днями торчит в нашей бильярдной, вот и все его отношения с советской литературой.

И еще, пока меня не было, на столе появилась большая бутылка пшеничной, а при ней, как это часто случалось и ранее, появился друг мой хороший из соседнего подъезда Слава Крутоярский, тощий, темнлицый, длинноволосый, облитый искусственным хромом и склонный к теоретизированию.

– Что такое критика? – спрашивал он Жору Наумова, уже снявшего и повесившего на спинку стула свой мохнатый пиджак. – Причем я говорю не об этой критике, что у нас сейчас, ты понимаешь меня?

Слава всегда через каждые две фразы осведомлялся у собеседника, понимает ли тот его.

Жора важно кивнул в знак того, что да, понимает; и задумчиво кивнул Валя Демченко; и я на всякий случай кивнул, усаживаясь; и дружно закивали Петенька и его приятель, да так энергично, что водка плеснулась у них из фужеров.

– Критика – это наука, – продолжал Слава, глядя на Жору в упор. – Как связать, соотнести истерику творца с потребностями общества, ты понимаешь меня? Выявить соотношение между тяжкими мучениями творца и повседневной жизнью социума – вот что есть задача критики. Ты меня понимаешь?

Мысль эта показалась социуму настолько здоровой и интересной, что все принялись требовать друг у друга карандаш и бумагу. Чтобы записать. Ни карандаша, ни бумаги ни у кого не оказалось, подозвали Аленушку, выклянчили у нее огрызок карандаша и листочек из блокнотика, и Петенька потребовал, чтобы Слава формулировку свою повторил. Слава честно попытался повторить и не сумел. Жора Наумов тоже не сумел и только все запутал, приплел какую-то квинтэссенцию, и, пока они галдели, перебивая друг друга, я подумал, что, как ни определяй критику, пользы от нее никакой, вреда же от нее не оберешься. Никакой не квинтэссенцией истерики творца занимается наша критика, а занимается она нивелировкой литературы с целью удобства сводить с писателями личные и вкусовые счета. Вот так.

Я выпил и закусил ломтиком остывшего бифштекса. Между тем терминологический спор о критике естественным образом переключился на гонорарную политику.

Сам я на гонорарную политику смотрю просто: чем больше, тем лучше, все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша ломаного не стоят. Вот это Ойло Союзное орет все время, что, дескать, если бы ему платили, как Алексею, он бы писал, как Лев. Врет он, халтурщик. Ему сколько ни плати, все равно будет писать дерьмо. Дай ему хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, все равно он будет долдонить: хорошо учиться, дети, это очень хорошо, а плохо учиться, бяки, это никуда не годится, и нельзя маленьких обижать. И будет он все равно благополучно издаваться, потому что любой детской редакции занаряжено, скажем, тридцать процентов издательской площади под литературу о школьниках, а достанет ли на эти тридцать процентов хороших писателей – это уже вопрос особый. Подразумевается, что достанет. А вот Вале Демченко плати двести, плати сто, все равно он будет писать хорошо, не станет он писать

хуже оттого, что ему платят хуже, хотя никакие площади под его критический урбанизм не занаряжены, а рецензенты кидаются на него как собаки...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.